



Фриц Питерс

ДЕТСТВО
С ГУРДЖИЕВЫМ

ВСПОМИНАЯ
ГУРДЖИЕВА



Фриц Питерс
Детство с Гурджиевым.
Вспоминая
Гурджиева (сборник)
Серия «Гурджиев. Четвертый Путь»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8722321

Детство с Гурджиевым. Вспоминая Гурджиева: Издательская группа

Традиция; М.; 2014

ISBN 978-5-9905747-6-2

Аннотация

Фриц Питерс (1913–1979) впервые познакомился с великим русским философом Георгием Ивановичем Гурджиевым в 1924 году, в возрасте одиннадцати лет. Так началось путешествие, которому было суждено обогатить и полностью преобразить его жизнь.

Первая книга данного тома, «Детство с Гурджиевым», описывает период с 1924 по 1928 годы – времена наибольшего расцвета и активности Института гармонического развития человека в Приоре. Великолепно рассказанные истории чудесно демонстрируют нестандартный подход Гурджиева к решению как повседневных, так и вечных вопросов.

Вторая книга, «Вспоминая Гурджиева», относится к более поздним встречам автора с Гурджиевым в период с 1932 по 1947 годы. Пожалуй, это одно из самых чистых и в то же время парадоксальных описаний архетипичного взаимодействия «учитель-ученик».

Фриц Питерс открывает истинные, человеческие черты Гурджиева и представляет нам одну из самых таинственных и противоречивых личностей XX века. Как особо отмечено в предисловии Генри Миллера, язык книги «можно отнести к истинным сокровищам нашей литературы».

Книга Фрица Питерса продолжает серию «Гурджиев. Четвертый Путь» (после «Дневника ученика» Ч.С. Нотта и «Женского сборника») в издательской группе «Традиция».

Содержание

Предисловие Генри Миллера	8
Фриц Питерс	11
Глава 1	12
Глава 2	18
Глава 3	25
Глава 4	31
Глава 5	36
Глава 6	48
Глава 7	58
Глава 8	64
Глава 9	72
Глава 10	77
Глава 11	83
Глава 12	90
Глава 13	97
Глава 14	104
Глава 15	112
Глава 16	120
Конец ознакомительного фрагмента.	123

Фриц Питерс

Детство с Гурджиевым.

Вспоминая Гурджиева

- © Fritz Peters, My Journey with a Mystic
- © Общество друзей Абсолюта, идея проекта
- © Евгения Бубер, дизайн серии
- © Андрей Тумилович, Татьяна Тумилович, перевод
- © Андрей Степанов, общая редакция

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Слово издателя

Дорогой Неизвестный Читатель!

Используя известный алхимический принцип «чтобы

сделать золото – надо иметь немного золота», мы говорим: «Чтобы понять Гурджиева – надо быть немного Гурджиевым».

Надо быть как минимум на его уровне.

В противном случае его жизнь и его деяния неподвластны нашему суду.

Судить – это значит взвесить на весах объективного правосудия поступки Учителя, понять их причины и увидеть следствия, дать беспристрастное суждение о месте происходящего в иерархии времени и пространства.

Мы не можем судить!

Все, что мы можем – это использовать образ Учителя как критерий для оценки собственного микрокосма. И таким путем пошел Фриц Питерс, написав книгу о себе и... о любви.

Не смущаясь несоответствиям и не являясь «классическим учеником», назначенный «официальным преемником и хранителем знания», он всю свою жизнь старался придерживаться «беспристрастной, объективной критики», к коей призывал его Учитель.

Он старался Понять.

Понять, что в действительности «Любить – это значит знать достаточно, чтобы быть способным помочь другим, даже если они не могут помочь себе сами».

Будьте Счастливы!

www.traditionpress.ru

*Книжная серия «Гурджиев. Четвертый Путь»
посвящается памяти
Владимира Григорьевича Степанова*

БЛАГОДАРНОСТИ

*Огромное спасибо за помощь
Михаилу Кошубарову
Валерию Мальшеву*

Предисловие Генри Миллера

Это исключительно приятная книга, но говоря «приятная», я не имею в виду книгу, которая должна восприниматься несерьёзно. Можно подобрать даже более точное прилагательное – восхитительная. В ней есть не только удивительные случаи, в ней есть мудрость. Мудрость жизни.

Примечательно то, что это описание переживаний мальчика, связанных с выдающимся человеком, замечания и наблюдения которого могли лишь отчасти быть осмыслены во времена автора. Мальчик часто цитирует Гурджиева дословно. Его память ошеломляет в той же степени, как и его интуиция. Нужно принимать во внимание то, что, когда мать оставила его на попечении Гурджиева в Институте гармонического развития человека, мальчик не представлял себе, кто такой Гурджиев и кем он является как личность. Учился он быстро. Когда открываешь эту книгу, то мгновенно увлекаешься столкновением двух очень непохожих людей. Ты осознаёшь, что это – не простой рассказ о детских воспоминаниях.

Начнём с того, что Гурджиев был совершенно загадочной личностью. Он был живым воплощением греческого слова *enantiodromos*, которое обозначает процесс перехода предмета в свою противоположность. Он мог быть мягким, резким, строгим, терпимым, пронизательным, чудаческим, со-

вершенно серьёзным, шутником и всё это – одновременно. Даже автор, которому на тот момент было всего лишь одиннадцатый и который стал у Гурджиева «мальчиком на побегушках», временами не знал, как его воспринимать. Гурджиев удивлял беспрестанно. Однако, будучи столь юным и не готовым к суровым испытаниям, Фриц Питерс – тот самый мальчик – оказался достаточно проницательным, чтобы осознать, что находится в руках самого необычного человека, человека, которого называют мастером, гуру, учителем, чуть ли не святым.

Сказано, что Иегова показал свою скрытую сущность Моисею, точно так и Питерс открывает нам истинные, человеческие черты Гурджиева.

Очень много было написано о провокационном поведении Гурджиева. Действительно, казалось, что он мало заботился об общепринятых нормах. В каком-то смысле он был на пересечении учений гностиков древности и современных дадаистов. Конечно, латинское выражение «ничто человеческое мне не чуждо» отражало и его сущность. Он был человеком до глубины души.

Иногда он достигал потрясающих высот. И автор, подражая ломаному английскому Гурджиева, представляет нам эти моменты фантастическим языком Гурджиева. Этот ломаный английский часто приобретал «дьявольский» характер. Если временами казалось, что Гурджиев прикасается к краю мироздания, то иногда можно было сказать, что он –

сам посланник Сатаны, почему эта книга и является крайне приятной. Она пленит даже тех, кто никогда не слышал о Гурджиеве. Она поучительна, но не скучна. В ней есть дурачество, которое не опускается до вульгарности. Она представляет нам одну из самых таинственных и противоречивых личностей нашего времени, к сожалению, так мало известную современному человеку.

Я сам прочитал книгу несколько раз и каждый раз открывал её для себя заново. Что же касается языка, то я считаю её, наравне с «Приключениями Алисы в Стране чудес», истинным сокровищем нашей литературы.

Генри Миллер

Фриц Питерс
Детство с Гурджиевым



Глава 1

Я впервые встретился с Георгием Гурджиевым в июне 1924 года в субботний день в поместье Приоре в Фонтблело во Франции. Хотя причины моего появления там были мне не очень ясны – мне было в то время одиннадцать лет – тем не менее, я отчётливо и ясно помню ту встречу.

Был ясный солнечный день. Гурджиев сидел за небольшим столиком с мраморной столешницей, в тени полосатого зонта. Он сидел спиной к замку, повернувшись к открытому пространству симметричных газонов и клумб. Перед тем, как меня вызвали к нему для беседы, я некоторое время сидел позади него на террасе замка. На самом деле я видел Гурджиева и раньше, в Нью-Йорке прошлой зимой, но я не считал это «встречей». Моим единственным воспоминанием того времени было то, что я был напуган им: отчасти тем, как он посмотрел на – или сквозь – меня, а отчасти из-за его репутации. Мне рассказывали, что он был как минимум «пророк», а как максимум – что-то очень близкое ко «второму пришествию Христа».

Встреча с каким-нибудь вариантом «Христа» – это событие, но, честно говоря, я не только не желал этой встречи, я страшился её.

Но на самом деле мои страхи не оправдались. «Мессия» или нет, он показался мне простым откровенным человеком.

Он не был окружён никаким сиянием, говорил по-английски с сильным акцентом, значительно проще, чем меня заставляла ожидать Библия. Он сделал неопределённый жест в моём направлении, велел мне сесть, попросил подать кофе и затем спросил меня, почему я здесь. Мне полегчало от того, что Гурджиев оказался обычным человеком, но ответить на его вопрос было трудно. Я был уверен, что ему надо дать «важный» ответ, сказать, что у меня есть какая-то веская причина. Не имея таковой, я сказал ему правду: я здесь потому, что меня привели сюда.

Затем Гурджиев спросил, почему я хочу быть здесь, учиться в его школе. И снова я смог ответить только то, что меня привезли сюда помимо моей воли, ничего не объяснив. Я помню сильное побуждение солгать ему и столь же сильное ощущение, что я не могу этого сделать. Я чувствовал, что он заранее знает правду. Единственный вопрос, на который я ответил менее честно, это, когда он спросил меня, хочу ли я остаться здесь и учиться у него. Я сказал, что хочу – но по сути это не было правдой. Я ответил так, потому что знал, что он ожидает услышать это от меня. Мне кажется теперь, что любой ребёнок должен был ответить, как и я. Чем бы ни было Приоре для взрослых (а дословное название школы было: «Гурджиевский Институт Гармонического Развития Человека»), я чувствовал, что пережил нечто подобное собеседованию у директора школы. Я разделял общую договорённость, согласно которой ни один ребёнок не скажет учителю,

что не хочет учиться. Единственным, что удивило меня, было то, что меня об этом спросили.

Затем Гурджиев задал мне ещё два вопроса:

1. Как вы думаете, что такое жизнь?

и

2. Что вы хотите знать?

На первый вопрос я ответил поговоркой: «Я думаю, что жизнь – это что-то, что подаётся нам на серебряном блюде, для того, чтобы мы сделали с ней что-нибудь».

Этот ответ вызвал долгое обсуждение выражения «на серебряном блюде» и упоминание Гурджиевым головы Иоанна Крестителя. Я отступил – это выглядело как отступление – и видоизменил фразу, сказав, что жизнь – это «подарок», и это ему понравилось.

Второй вопрос («Что вы хотите знать?») был проще. Я сказал: «Я хочу знать всё».

Гурджиев ответил немедленно: «Вы не можете знать всё. Всё о чём?»

Я сказал: «Всё о человеке, – и затем добавил, – по-английски, я думаю, это называется психологией или, может быть, философией».

Он вздохнул, и после короткого молчания сказал: «Вы можете остаться. Но ваш ответ затрудняет мою жизнь. Только я один учу тому, о чём вы просите. Из-за вас у меня будет больше работы».

Так как моим детским стремлением было приспособли-

ваться и угождать, я был смущён ответом. Меньше всего я хотел бы осложнять чью-либо жизнь – мне казалось, что она и без того достаточно трудна. Я ничего не ответил, и Гурджиев продолжил говорить, что вдобавок к изучению «все-го» я должен буду также учить менее значительные предметы, такие как языки, математику, другие науки и т. д. Он также сказал, что это не обычная школа: «Здесь можно изучить много того, чему не учат в других школах». Затем он благожелательно похлопал меня по плечу.

Я использую слово «благожелательно», потому что этот жест имел большое значение для меня в то время. Я очень хотел одобрения от какого-нибудь высокого авторитета. Заслужить «одобрение» этого человека, которого другие взрослые считали «пророком», «провидцем» и/или «Мессией» – и одобрение в виде такого простого дружеского жеста – было неожиданно и волнующе. Я просиял.

Манера Гурджиева резко изменилась. Он стукнул кулаком по столу, выразительно посмотрел на меня и сказал: «Вы можете обещать, что сделаете для меня кое-что?»

Его голос и взгляд, который он бросил на меня, были отпугивающими и захватывающими одновременно. Я почувствовал, что мне бросили вызов, и, одновременно, словно загнули в угол. Я ответил ему одним словом – решительным «да».

Он указал на широкую лужайку перед нами: «Вы видите эту траву?»

«Да».

«Я даю вам работу. Вы должны косить эти газоны машиной каждую неделю».

Я взглянул на газоны, расстилавшиеся перед нами; они мне показались бесконечными. Это, несомненно, был намного больший объём работы на неделю, чем я мог предположить. Снова я сказал «да».

Он стукнул кулаком по столу второй раз. «Вы должны поклясться своим Богом». Его голос был чрезвычайно серьёзен. «Вы должны обещать, что будете делать это, невзирая ни на что».

Я смотрел на него вопрошающе, почтительно и с уважительным трепетом. Ни один газон, даже эти (а их было четыре), не казался мне теперь значительным. «Я обещаю», – сказал я серьёзно.

«Не просто обещайте, – повторил он. – Вы должны обещать, что будете делать это, что бы ни случилось, кто бы ни пытался вас остановить. В жизни может случиться что угодно».

В этот момент его слова вызвали в моём воображении зрелища ужасающих происшествий при покосе газонов. Я предвидел множество эмоциональных драм, которые могут произойти в будущем из-за этих газонов. Снова, не раздумывая, я обещал. Я был так же серьёзен, как и он. Я умер бы, если необходимо, в работе, скашивая траву.

Моя преданность была очевидной, и он вроде бы был удо-

влетворён. Он приказал мне начать работу в понедельник и затем отпустил меня. Я не думаю, что понимал это в то время, – то есть ощущение было новым для меня, – но я ушёл от него с чувством, что наполнен любовью: к людям, к газону или к себе – не имело значения. Моя грудь прямо-таки расправилась. Меня, ребёнка, мелкую сошку в мире взрослых, попросили исполнить нечто явно важное.



Глава 2

Каким было «Приоре», которое мы чаще называли именно так, или «Институт Гармонического Развития Человека»?

В возрасте одиннадцати лет я понимал это просто как некоторую особую школу, управляемую, как я сказал, человеком, который считался многим людьми провидцем, новым пророком, великим философом. Гурджиев сам однажды обозначил это место, как то, где он пытался, среди прочего, создать маленький мир, воспроизводящий условия большого внешнего мира; основной целью создания таких условий существования было подготовить учеников для будущих социальных или жизненных испытаний. Другими словами, это не было школой, посвящённой обычному образованию, которое в основном заключается в ознакомлении с различными предметами, такими как чтение, письмо и арифметика. Среди простейших вещей, которым он пытался научить, была подготовка к жизни в целом.

Может быть, необходимо указать здесь, особенно для людей, которые в некоторой степени знакомы с теорией Гурджиева, что я описываю «Институт», как видел и понимал его ребёнком. Я не пытаюсь определить его цель или значение для людей, которые были привлечены сюда интересом к Гурджиеву или его философии. Для меня, несомненно, это была просто особая школа – отличающаяся от всех других

школ, которые я знал, – и существенное отличие заключалось в том, что большинство «учеников» были взрослыми. За исключением моего брата и меня, все остальные дети были либо родственниками (племянницами, племянниками и т. д.) Гурджиева, либо его собственными детьми. Детей было немного, я могу припомнить, в общей сложности, только десятирых.

За исключением малышей, режим школы был для всех одинаков. День начинался с кофе и гренок в шесть часов утра. С семи часов каждый работал над каким-нибудь заданием, которое ему было поручено. Исполнение этих заданий прерывалось в течение дня только едой: обедом в полдень (обычно суп, мясо, салат и какой-нибудь сладкий пудинг); чаем в четыре часа дня; простым ужином в семь часов вечера. После ужина, в половине девятого, была гимнастика или танцы в так называемом «Доме для занятий». Этот распорядок был неизменным шесть дней в неделю, за исключением того, что в субботу после полудня женщины ходили в турецкую баню; ранним субботним вечером были «демонстрации» танцев в Доме для занятий: более подготовленные исполнители танцевали для других учеников и гостей, которые часто приезжали в выходные. После демонстраций мужчины шли в турецкую баню и, когда баня была закончена, был «банкет» или особая трапеза. Дети участвовали в этих поздних застольях только как прислуга или помощники при кухне. Воскресенье было днём отдыха.

Задания, которые давались ученикам, неизменно касались текущих дел школы: садоводство, приготовление пищи, домашнее хозяйство, уход за животными, дойка, приготовление масла. Эти задания почти всегда выполнялись группами. Как я узнал позже, групповая работа считалась особенно важной: разные люди, работая вместе, субъективно создавали конфликты; конфликты производили трение; трение вскрывало особенности, наблюдая которые можно было обнаружить своё «я». Одной из многих целей школы было «увидеть себя так, как вас видят другие»: увидеть себя как бы со стороны, быть способным оценить себя объективно, но сначала – просто *увидеть*. Это упражнение, которое, на самом деле, должно было выполняться всё время, во время любой физической работы, называлось «самонаблюдение» или «противопоставление: я – оно». «Я» – суть (возможного) самосознания, «оно» – тело, инструмент.

Вначале, ещё до того, как я понял что-нибудь из этих теорий или упражнений, моей задачей и, в некотором смысле, моим миром, было полное сосредоточение на скашивании травы на моих газонах – как я стал называть их. Эта работа стала значительно более важной для меня, чем я мог ожидать.

Через день после моего разговора с ним Гурджиев уехал в Париж. Нам дали понять, что это обычно для него – проводить два дня в неделю в Париже, как правило, в сопровождении его секретаря мадам де Гартман, а иногда и других. На

этот раз, что было необычно, он поехал один.

Как я помню, ещё до полудня понедельника – Гурджиев уехал в воскресенье вечером – до детей в школе дошёл слух, что с ним произошла автомобильная катастрофа. Сначала мы слышали, что он убит, затем – что он серьёзно ранен и вряд ли выживет. Официальное объявление было сделано кем-то из властей в понедельник вечером. Он не умер, но серьёзно ранен и находится в госпитале при смерти.

Трудно описать воздействие такого объявления. Само существование «Института» всецело зависело от присутствия Гурджиева. Именно он назначал работу каждому индивидуально, и до этого момента он лично наблюдал каждую деталь работы школы. Теперь надвигающаяся возможность его смерти всё остановила. Только благодаря инициативе нескольких старших учеников, большинство из которых прибыли с ним из России, мы продолжали питаться регулярно.

Пока я не знал, что должно случиться со мной лично, в моей голове оставалось ярким только то, что он сказал косить газоны «что бы ни случилось». Для меня было облегчением заниматься конкретным делом, определённой работой, которую он мне поручил. У меня также в первый раз появилось ощущение, что он наверняка был необычным человеком. Он сказал «что бы ни случилось», и с ним случилось несчастье. Его указание приобрело от этого больший вес. Я был уверен, что он знал заранее, что должно было случиться

«нечто», хотя и не обязательно автомобильная катастрофа.

Я был не единственным, кто чувствовал, что этот несчастный случай был в некотором смысле предопределён. Тот факт, что он уехал в Париж один (я сказал, что он сделал так впервые), был достаточным доказательством для большинства учеников. Моей реакцией, в любом случае, было то, что косить траву стало совершенно необходимо; я был убеждён, что его жизнь, по крайней мере отчасти, могла зависеть от моей преданности заданию, которое он мне дал.

Эти мои чувства приняли особую важность, когда несколько дней спустя Гурджиева привезли назад в Приоре в его комнату, которая выходила на «мои» газоны. Нам сказали, что он в коме, и его жизнь поддерживается кислородом. Периодически приходили и уходили доктора, приносились и заменялись кислородные баллоны; воцарилась тишина – мы все были как бы вовлечены в постоянную, тихую молитву о нём.

Примерно через день или два после его возвращения мне сказали – вероятно, мадам де Гартман, – что шум газонокосилки надо прекратить. Решение, которое я был вынужден принять тогда, было особенно важным для меня. Как я ни уважал мадам де Гартман, я не мог забыть ту силу, с которой он вынудил меня дать обещание делать свою работу. Мы стояли на краю газона, прямо под окнами его комнаты, когда я должен был ответить ей. Насколько я помню, я недолго раздумывал и решительно отказался. Тогда мне сказали, что

его жизнь, может быть, действительно зависит от моего решения, и я ещё раз отказался. Меня очень удивило, что мне категорически не запретили продолжать работать и даже не удерживали насильно. Единственным объяснением, которое я этому мог найти, было то, что его власть над учениками была настолько сильной, что никто не хотел брать на себя ответственность, запретив мне выполнять его задание. Во всяком случае, меня не удерживали; мне было просто сказано прекратить косить траву. А я продолжал её косить.

Этот отказ от подчинения любой власти, меньшей, чем высшая, был жизненно важен и абсолютно серьёзен, и, я думаю, единственным, что поддержало меня в этом, было моё сознательное убеждение, что шум косилки никого не убьёт. Также, но не столь ясно и логично, я чувствовал в то время, что его жизнь могла как-то необъяснимо зависеть от исполнения мною задания. Эти причины, однако, не могли защитить меня от чувств других учеников (в то время их там было примерно сто пятьдесят человек, и большинство из них взрослые), которые были убеждены, что шум, который я продолжал производить каждый день, мог быть смертелен.

Конфликт продолжался несколько недель. Каждый день объявляли, что в его состоянии нет изменений, и мне становилось всё труднее начинать работу. Я помню, как я каждое утро скрежетал зубами и преодолевал свой собственный страх. Моя решимость попеременно то укреплялась, то ослаблялась отношением других учеников. Я был изгнан, от-

странён от всякой другой деятельности; никто не хотел сидеть со мной за одним столом во время еды. Если я подходил к столу, где сидели другие, они уходили, когда я садился, и я не могу припомнить, чтобы кто-нибудь разговаривал со мной или улыбался мне в течение этих недель, за исключением немногих наиболее влиятельных старших, которые время от времени убеждали меня остановиться.



Глава 3

В середине лета 1924 года моя жизнь была сосредоточена на траве. К тому времени я мог скосить все мои четыре газона за четыре дня. Другие обязанности, которые я исполнял, когда подходила моя очередь – роль «мальчика при кухне» или «привратника» у маленьких ворот, которого мы называли «консьержем», – были не столь важны. Я плохо помню что-то ещё, кроме звука газонокосилки.

Мой кошмар закончился неожиданно. Однажды рано утром, толкая косилку вверх к фасаду замка, я посмотрел на окна Гурджиева. Я делал это всегда, как бы надеясь на какой-нибудь удивительный знак, и в это особенное утро я наконец увидел его. Гурджиев стоял у открытого окна и смотрел на меня сверху. Я остановился, изумлённо посмотрел на него и с облегчением вздохнул. Долгое время он оставался неподвижным. Затем крайне медленно он поднёс правую руку к губам и сделал жест, который, как я позже узнал, был очень характерен для него: большим и указательным пальцем он разделил усы от середины, а затем его рука опустилась в сторону, и он улыбнулся. Жест сделал его настоящим – без него я мог бы подумать, что фигура, стоявшая там, просто галлюцинация или плод моего воображения.

Чувство облегчения было таким сильным, что я разрыдался, обхватив косилку обеими руками. Я продолжал смотреть

на Гурджиева сквозь слёзы до тех пор, пока он медленно не отошёл от окна. А затем я снова начал косить. Ужасный шум этой машины теперь стал для меня радостным. Я толкал косилку взад и вперёд изо всех сил.

Я решил подождать до полудня, чтобы сообщить о своём триумфе, но к тому времени, когда я пошёл на обед, я понял, что мне нечем подтвердить своё заявление. Теперь это кажется удивительной мудростью, что я промолчал, хотя был переполнен счастьем.

Вечером всем стало известно, что Гурджиев вне опасности, и за ужином была очень радостная атмосфера. Моё участие в его выздоровлении – я был убеждён, что я больше всех поспособствовал этому – затерялось во всеобщем ликовании. Враждебность, направленная непосредственно на меня, исчезла так же внезапно, как и появилась. Если бы мне не запрещали несколько недель тому назад шуметь под окнами Гурджиева, я бы мог подумать, что всё это существовало только в моём воображении. Моя потребность в торжестве и признании развеялась.

Ситуация, однако, на этом не завершилась. Гурджиев показался через несколько дней. Тепло одетый, он медленно подошёл, чтобы сесть за небольшой столик, где мы с ним впервые беседовали. Я, как обычно, с трудом ходил взад и вперёд с моей косилкой. Гурджиев сел и, по всей видимости, осматривал всё вокруг до тех пор, пока я не закончил косить газон. Это был четвёртый – благодаря быстроте его

выздоровления я сократил время покоса до трёх дней. Когда я толкал косилку перед собой, направляя её в сарай, где она хранилась, Гурджиев посмотрел на меня и жестом подозвал к себе.

Я подошёл. Он улыбнулся (и снова я назову его улыбку «благожелательной») и спросил, за какое время я скашиваю газоны. Я ответил с гордостью, что могу скосить их за три дня. Он окинул пристальным взглядом широкую поверхность травы перед собой и встал. «Это нужно делать за один день, – сказал он. – Это важно».

Один день! Я был шокирован, мои чувства смешались. Меня не только не похвалили за моё достижение – ведь несмотря ни на что, я сдержал своё обещание – фактически меня наказали за это.

Гурджиев не обратил внимания на выражение моего лица, а положил руку мне на плечо и тяжело опёрся на меня. «Это важно, – повторил он, – когда вы сможете подрезать газоны за один день, я дам вам другую работу». Затем он попросил меня прогуляться с ним – помочь ему пройтись – до луга, расположенного неподалёку, пояснив, что ему трудно ходить.

Мы шли медленно. Даже несмотря на мою помощь, ему было тяжело подниматься по тропинке к полю, о котором он упомянул. Это был каменистый склон холма около птичьего двора. Гурджиев послал меня в сарай с инструментами, который находился недалеко от курятника, и велел принести

косу, что я и сделал. Затем он вывел меня на луг, снял руку с моего плеча, взял косу в обе руки и замахнулся, собираясь косить траву. Я почувствовал, что усилие, которое он сделал, было громадным; меня испугала его бледность и очевидная слабость. Затем он вернул мне косу и велел убрать её. Я отнес её на место, вернулся и встал рядом с ним. Он опять тяжело опёрся на моё плечо.

«Как только все газоны будут скашиваться в один день, это станет вашей новой работой. Будете косить этот луг каждую неделю».

Я посмотрел на склон с высокой травой, на камни, деревья и кусты. Я знал свой рост – я был мал для своего возраста, и коса казалась мне очень большой. Всё, что я мог сделать, это с изумлением посмотреть на Гурджиева. Это был только взгляд ему в глаза, серьёзный и обиженный, который удержал меня от немедленного сердитого резкого протеста. Я склонил голову и кивнул, а затем медленно пошёл с ним назад к главному зданию, вверх по ступенькам и до двери его комнаты.

В мои одиннадцать лет жалость к себе не была мне чужда, но на этот раз её проявление было слишком велико даже для меня. Но кроме того, что я себя жалел, я также чувствовал гнев и возмущение. Меня не только не отметили и не похвалили, но, фактически, просто наказали. Что это была за школа, и что за человек он был после всего этого! Мучительно и скорее гордо я вспомнил, что собирался вернуться

осенью в Америку. Я покажу ему! Всё, что мне надо сделать – это так никогда и не скосить газоны за один день!

Любопытно, но когда я успокоился и начал принимать то, что казалось неизбежным, я обнаружил, что возмущение и гнев, хотя я ещё чувствовал их, не были направлены против Гурджиева лично. Когда я гулял с ним, в его глазах была печаль, и я был озабочен этим и его здоровьем; кроме того, хотя не было указаний, что я *должен* исполнять эту работу, я почувствовал, что принял на себя своеобразные обязательства, что я должен сделать это ради него.

На следующий день меня ожидала новая неожиданность. Гурджиев вызвал меня в свою комнату утром и спросил строго, способен ли я хранить тайну – ото всех. Твёрдость и горящий быстрый взгляд, который он бросил на меня, когда задавал вопрос, были совершенно отличны от его слабости предыдущего дня. Я смело заверил, что могу. Ещё раз я почувствовал большой вызов – я буду хранить эту тайну, несмотря ни на что!

Затем Гурджиев сказал мне, что не хотел беспокоить других учеников – и особенно своего секретаря, мадам де Гартман – но он почти ослеп, и только я знаю это. Он обрисовал мне увлекательный план: он решил реорганизовать всю работу в Приоре. Я должен буду ходить с ним повсюду, нося кресло; оправданием этого было то, что он ещё слаб и время от времени нуждался в отдыхе. Настоящая причина, которая хранилась в тайне, была в том, что я должен ходить с ним,

потому что он не может на самом деле видеть, куда идёт. Короче говоря, я должен был стать его поводырём и опекуном, хранителем его персоны.

Я почувствовал, наконец, что вознаграждён; что моя настойчивость не была напрасной и сохранение моего обещания действительно чрезвычайно важно. Я ни с кем не мог поделиться своим торжеством – но это было подлинное торжество.



Глава 4

Моя новая работа в качестве «носителя кресла» или, как я думал о ней тогда, «хранителя», занимала большую часть времени. Я был освобождён от всех других обязанностей, за исключением нескончаемых газонов. Я должен был продолжать косить, но это нужно было делать до того, как Гурджиев появлялся утром, или после того, как он возвращался в свою комнату во второй половине дня.

Я никогда не знал, был ли правдой его рассказ о частичной потере зрения. Я предполагал, что это было правдой, потому что всегда безоговорочно верил ему – он, казалось, не мог говорить ничего, кроме правды, хотя никогда не выражал её прямо. С другой стороны, я подозревал, что эта работа носителя кресла и проводника была выдумана для меня, и что история со слепотой – только предлог. Мои сомнения исходили из того, что из-за этой работы моя персона становилась преувеличенно важной, чего я никак не мог ожидать от Гурджиева. Я важничал уже просто потому, что был выбран, без каких-либо дополнительных причин.

В последующие недели – возможно, всего месяц – каждый день я носил кресло целыми милями, обычно следуя за Гурджиевым на почтительном расстоянии. Я верил в его слепоту, потому что он часто сбивался с пути, и я должен был бросать кресло и подбегать к нему, предупреждая о какой-ни-

будь опасности – например, часто неминуемой возможности угодить в небольшой канал, который проходил по имению. Затем я мчался назад к креслу, поднимал его и снова следовал за ним.

Работа, которой он руководил в то время, касалась каждого в Школе. Было несколько проектов, выполняемых одновременно: строительство дороги, для которой нужно было дробить камень железными колотушками, чтобы получить определённого размера щебень; вырубка леса, удаление целых акров деревьев, а также их пней и корней лопатами и кирками. Кроме этих проектов непрерывно продолжались обычные обязанности по садоводству, прополке, сбору овощей, приготовлению пищи, домашнему хозяйству и прочему. Когда Гурджиев осматривал какой-нибудь проект, я присоединялся к работающим, до тех пор, пока он не был готов перейти к следующему проекту или вернуться домой.

Примерно месяц спустя я был освобождён от обязанности носителя кресла и вернулся к регулярному кошению газонов и другим постоянным обязанностям: работе на кухне один день в неделю и поочерёдное исполнение обязанностей швейцара, который открывал двери и отвечал на телефонные звонки.

Как я уже упоминал, в тот период, когда я ходил за Гурджиевым, я должен был находить время для покоса газонов, когда мог. Я на время забыл о холме, который, в конце концов, должен был косить еженедельно, что вызывало во мне

некоторый ужас. Но когда я вернулся к своей обычной регулярной работе, то обнаружил, что без заметного усилия достиг цели, которую мне поставил Гурджиев. В момент этого открытия, однажды вечером после чая, когда я закончил косить четвертый за день газон, Гурджиев удобно сидел на скамейке лицом к газонам, а не за своим столиком, как обычно. Я поставил косилку, вернулся на террасу и с несчастным видом направился к нему. Хотя я никогда не любил газоны, перспектива моей следующей работы вызвала во мне чувство тоски по ним. Я остановился, как мне казалось, на почтительном расстоянии от Гурджиева и стал ждать. Я колебался между тем, чтобы сказать ему, или отложить это на неопределённое будущее.

Через некоторое время он повернулся в мою сторону, как бы недовольный моим присутствием, и резко спросил меня, надо ли мне что-нибудь от него. Кивнув, я подошел, встал рядом с ним и выпалил: «Я могу скосить все газоны в один день, Гурджиев!»

Он нахмурился, покачал головой, озадаченный, а затем сказал: «Почему вы говорите мне это?» Он ещё, казалось, сердился на меня.

Я напомнил ему о моей новой «работе», а затем спросил его, почти плача, приступать ли мне к ней на следующий день?

Он долгое время пристально смотрел на меня и как бы не мог вспомнить или даже понять, о чём я говорю. Нако-

нец простым ласковым жестом он притянул меня к себе и заставил сесть на скамейку рядом с собой, удерживая руку на моём плече. Ещё раз он улыбнулся мне той далёкой, невероятной улыбкой – я упоминал о ней, как о «благожелательной», – и сказал, покачивая головой: «Нет необходимости скашивать луг. Вы уже сделали эту работу».

Я посмотрел на него смущённо, с большим облегчением. Но я хотел знать, буду ли я продолжать косить газоны?

Он размышлял об этом некоторое время, а затем спросил, как долго я собирался находиться здесь. Я ответил, что приблизительно через месяц предполагаю вернуться на зиму в Америку. Он подумал, а затем сказал, как будто это было безразлично теперь, что я буду просто работать в группе и исполнять свои обычные обязанности, работая в саду, когда не буду занят на кухне или как швейцар. «Вы получите другую работу, если приедете на следующий год», – сказал он.

Хотя я провел там ещё месяц, лето, как мне показалось, закончилось в тот момент. Остаток времени был как бы пустым: бессодержательным и лишённым волнений. Те из детей, кто работал вместе с взрослыми в садах, умели превращать сбор фруктов или овощей, прополку, ловлю медведек, слизней и улиток в приятные игры, без особой заинтересованности и преданности нашей работе. Это было счастливое место для детей: мы жили безопасно, посреди ограничений строгой дисциплины и определённых границ и рамок, нам было не тяжело, за исключением того, что работа дли-

лась долгие часы. Мы ухитрились много играть и забавляться, в то время как неугомонные взрослые смотрели на нас снисходительно, закрывая глаза на наши шалости.



Глава 5

Мы покинули Приоре в октябре 1924 года, чтобы вернуться на зиму в Нью-Йорк. В то время я был частью «необыкновенной семейной группы». Мой брат Том и я прожили несколько лет в странном, блуждающем мире. Моя мать Луиза развелась с моим отцом, когда мне было восемнадцать месяцев; несколько лет у нас был отчим, но в 1923 году, когда моя мать пролежала в больнице почти год, Джейн Хип и Маргарет Андерсон (Маргарет была сестрой матери), соредакторы известного – если не знаменитого – журнала Little Review, взяли нас с братом на попечение. В то время я фактически не понимал, почему Маргарет и Джейн взяли на себя эту ответственность. Это была странная форма «запланированного материнства» двух женщин, ни одна из которых, как мне казалось, не хотела иметь собственных детей. Так как Маргарет не вернулась с нами из Франции, то вся ответственность легла на Джейн.

Я могу описать наш домашний уклад, каким он представлялся мне в то время: Том и я посещали частную школу в Нью-Йорке; мы выполняли рутинную домашнюю работу, помогая готовить, мыть посуду и тому подобное, и когда мы подвергались различным необычным испытаниям и влияниям, они мало затрагивали меня, во всяком случае меньше, чем этого можно было ожидать. В семье (если это подходя-

щее слово), в которой редактировался журнал и которую посещали исключительно артисты, писатели – одним словом, интеллектуалы, – я ухитрился жить в своём собственном мире. Ежедневный распорядок школы, включающий, естественно, других детей и обычную, понятную деятельность, был более важен для меня, чем темпераментная и «интересная жизнь», которая, на самом деле, служила для нас лишь фоном. Мир искусства не заменял детства: даже жизнь с моей матерью и отчимом была более «нормальной» для меня, чем жизнь в Нью-Йорке вне моей семьи, центром которой по существу была моя мать.

Наиболее важным внешним событием в ту зиму было внезапное появление моего отца. По причинам, которые я никогда полностью не понимал, Джейн решила, что она (или, возможно, она и Маргарет) юридически усыновит меня и Тома. Мероприятие усыновления было той причиной, по которой после полного отсутствия в течение десяти лет объявился мой отец. Сначала он не показался нам лично. Нам просто сказали, что он приехал, чтобы воспрепятствовать усыновлению, и что он хотел сам взять на себя опеку над нами обоими.

Как я понимал это в то время, Джейн, поддерживаемая А.Р. Орейджем и другими «людьми Гурджиева», после разговора с нами обоими смогла отказать моему отцу, и усыновление стало юридическим фактом.

Для меня та зима была ужасной во всех отношениях. Я

думаю, что для взрослого, скорее всего, невозможно понять чувства ребёнка, которому говорят совершенно открыто, что он может или не может быть усыновлен тем или иным человеком. Я не верю, что дети, когда с ними советуются о таких вещах, имеют «мнение» – они, естественно, цепляются за известную, относительно безопасную ситуацию. Мои отношения с Джейн, как я чувствовал и переживал их, были весьма изменчивыми и несдержанными. Временами в них была большая доля эмоций, любви между нами, но эмоциональность отношений меня пугала. Всё больше и больше я склонялся к тому, чтобы закрыться от того, что было вне меня. Люди для меня были кем-то, с кем я должен существовать, кого должен терпеть. Насколько возможно, я был один, проводя дни в мечтах, погрузившись в свой собственный мир, и страстно желая того момента, когда смогу спастись от сложности, а зачастую и вообще непостижимости мира вокруг меня. Я хотел вырасти и уединиться – уйти от них всех. Из-за всего этого у меня были постоянные трудности. Я ленился в домашней работе, возмущался любыми требованиями ко мне, любыми обязанностями, которые должен был исполнять, любым содействием, которого ожидали от меня. Упрямый и независимый из-за своего одиночества, я часто попадал в неприятности, меня часто наказывали. Той зимой я начал, вначале медленно, но твёрдо, презирать моё окружение и ненавидеть Джейн и Тома – главным образом потому, что они были частью той жизни, которой я жил. Я хорошо зани-

мался в школе, но из-за того, что для меня это было легко, я слабо интересовался тем, что делал. Все дальше и дальше я уходил в выдуманый мир, созданный мной самим.

В этом моём собственном мире были два человека, которые не были врагами, которые выделялись, как яркие маяки, но на тот момент не было никакой возможности пообщаться с ними. Это была моя мать и, конечно, Гурджиев. Почему «конечно»? Простая неподдельность Гурджиева как человека – лёгкие отношения, которые установились между нами в течение тех нескольких месяцев ясного лета – стала подобна лодке для утопающего.

Когда мне сказали, что есть возможность того, что «меня заберёт» мой отец (который был просто ещё одним враждебным взрослым), я громко выразил свой протест, не ожидая, что мой голос будет иметь какой-нибудь вес. Мой главный страх заключался в том, что я боялся встретиться лицом к лицу с другим, новым, чужим и неизвестным миром. Кроме того, и это было очень важно для меня, я был уверен, что такое изменение во внешнем мире устраняло любую возможность когда-либо снова увидеть Гурджиева и мою мать.

Ситуация осложнилась ещё больше, когда моя мать приехала в Нью-Йорк с человеком, который не был моим отцом, и Джейн окончательно отвергла её. Я помню, что мне разрешили лишь поговорить с ней на ступеньках квартиры – не более. Я не могу осуждать мотивы Джейн или её замыслы в то время. Я был убеждён, что ею двигали, с её точки зре-

ния, лучшие намерения. Результатом же было то, что я воспринимал её в тот момент, как своего смертельного врага. Связь между любым ребёнком и его матерью – особенно когда мать была единственным родителем многие годы – является, я думаю, достаточно сильной. В моём случае она была неистовой и маниакальной.

Дела не улучшились, когда, незадолго до Рождества, мой отец появился лично. Это была нелёгкая встреча: общение толком не состоялось – я говорю только за себя. Он не знал, как общаться без неловкости, так как был робким и «хорошо воспитанным» человеком. Единственным, что он сумел выразить, было то, что перед тем, как мы примем какое-нибудь окончательное решение об усыновлении (некоторое время я был под впечатлением от того, что это был конец, и от того, что отец не представлял более угрозы), он просил нас с Томом провести выходной с ним и его женой.

Я чувствовал, что это справедливо – дать ему шанс. Если это утверждение кажется хладнокровным, я могу сказать только, что большинство детских решений являются, в некотором смысле, «хладнокровными» и логичными – по крайней мере, мои были такими. Было решено, по-видимому, Джейн и моим отцом (и согласовано с Томом и со мной), что мы посетим его на Лонг-Айленде на неделе.

Визит, на мой взгляд, был катастрофой. Всё было бы не так ужасно, если бы мой отец немедленно по прибытии в его дом не объявил нам, что в случае, если мы решим жить с

ним, то поселимся не в его доме, а отправимся в Вашингтон, к двум его незамужним тёткам. Полагаю, что взрослые неизбежно должны объяснять детям факты или обстоятельства, которые имеют к ним отношение. Однако это сообщение, сделанное без какого-либо *чувства*, какой-либо эмоции (не было никакого намёка, что он любит нас или хочет жить с нами, или, что его тётки нуждаются в двух мальчиках в хозяйстве) показалось мне совершенно нелогичным и даже смешным. Я почувствовал себя ещё более одиноким, чем прежде – похожим на ненужный багаж, которому требуется место для хранения. Так как мой благовоспитанный отец постоянно пытался произвести хорошее впечатление и расспрашивал нас, по прошествии двух дней в его доме я твёрдо заявил, что не хочу жить ни с ним, ни с его тётками, и хочу уехать назад в Нью-Йорк. Том остался до конца недели; я – нет. Меня отпустили, однако, с условием, что я появлюсь на Лонг-Айленде снова, по крайней мере на Рождество. Я холодно согласился подумать над этим. Может быть, – я уже не помню – я согласился без какой-либо оговорки. Я сделал всё, чтобы выйти из положения. Даже Джейн, несмотря на то, что она не принимала мою мать, была чем-то привычным; а то, чего я страшился, было незнакомым, неизвестным.

Тем не менее зима продолжалась. Хотя я часто с ужасом думал о том, что могу никогда больше не увидеть Приоре, всё же было решено, что мы вернёмся туда весной. Гурджиев к тому времени стал единственной путеводной звездой на го-

ризонте, единственным безопасным островком в страшном непредсказуемом будущем.

За эту зиму первый вопрос, который задал мне в своё время Гурджиев, – почему я приехал в Фонтенбло – приобрёл огромную важность. Обращаясь в прошлое в те несколько месяцев, я понял, что Гурджиев стал очень значим для меня. Непохожий ни на одного известного мне взрослого, он вызывал во мне подлинные чувства. Он был полностью реальным – давал мне задания, и я выполнял их. Он не спрашивал меня, не вынуждал принимать решения, которые я был совершенно неспособен принять. Я стал стремиться к кому-то, кто мог сделать что-то так же просто, как «приказать» мне косить газоны – потребовать что-то от меня; однако, было непонятно, как его слова могли быть *требованием* (хотя, в конце концов, все взрослые «непонятные»). Я стал думать о нём, как о единственном рациональном взрослом человеке, которого я когда-либо знал. Как ребёнок, я не интересовался, – фактически, я не хотел это знать, – почему каждый взрослый что-нибудь делал. Я отчаянно нуждался в авторитете и искал его. А авторитетом в моём возрасте был кто-то, кто знает, что он делает. Со мной советовались в одиннадцать лет, заставляли принимать жизненные решения относительно собственного будущего, – а мне казалось, что это продолжалось всю зиму, – и это было не только совершенно непонятно, но и очень пугающе.

Вопрос Гурджиева развился до «почему я хочу вернуть-

ся в Фонтенбло?», и на это нетрудно было ответить. Я хотел вернуться и жить рядом с человеком, который знает, что делает – то, что я не понимал, что он делает, не имело значения. Однако я не стал отходить от изначальной формулировки – единственной причиной, остававшейся в моей голове, было то, что всё, что я должен был сделать, – это приехать туда. Я мог только благодарить ту силу (идея «Бога» мало значила для меня в то время), которая сделала вообще возможным моё пребывание там. Годом ранее наиболее привлекательным в путешествии в Фонтенбло было то, что я должен пересечь океан, чтобы попасть туда, а я любил пароходы.

В эту зиму, и потому, что Гурджиев приобретал для меня всё большее значение, меня сильно соблазняло ощущение, будто моё присутствие там было «неизбежным» – была как бы некоторая необъяснимая мистическая закономерность, которая делала лично для меня необходимым приехать в определённое место в определённое время – как будто у поездки туда была реальная цель. То, что имя Гурджиева в разговорах большинства окружавших меня тогда взрослых связывалось, в основном, с метафизикой, религией, философией и мистикой, будто бы усиливало некоторую предопределённость нашей встречи.

Но в конце концов, я не поддался идее, что сближение с ним было «предопределено». Мои воспоминания о Гурджиеве удерживали от таких мечтаний. Я был не в состоянии отрицать вероятность того, что он был ясновидец, мистик,

гипнотизёр, даже «божество». Но всё это не имело значения. На самом деле важным было то, что Гурджиев был уверенный, практичный, сознательный и последовательный человек. В моём маленьком уме Приоре казалось наиболее целесообразным институтом во всём мире. Оно представляло собой – как я это видел – место, которое стало домом для большого количества людей, чрезвычайно занятых выполнением физической работы, необходимой для функционирования этого института. Что могло быть проще, и что могло иметь большой практический смысл? Я был осведомлён, по крайней мере понаслышке, что, возможно, были и другие причины пребывания там. Но в моём возрасте и в моих условиях была единственная цель, и очень простая – быть похожим на Гурджиева. Он был сильным, честным, целенаправленным, простым и совершенно «не бессмысленным» человеком. Я мог вспомнить, совершенно честно, что ужаснулся от работы, заключавшейся в скашивании газонов; но мне было также ясно, что одной из причин моего ужаса было то, что я ленив. Гурджиев *заставил* меня косить газоны. Но он не сделал этого угрозами, обещаниями награды или просьбами. Он *сказал* мне косить газоны. Он сказал мне, что это очень важно, – и я косил их. Очевидным результатом, заметным мне в одиннадцатилетнем возрасте, было то, что работа – именно простая физическая работа – перестала вселять в меня ужас. Я также понял, хотя, возможно, не интеллектуально, почему не нужно было косить луг, почему я, как он

сказал, «уже сделал это».

Результат этой зимы 1924-25 годов в Нью-Йорке был таков, что я очень желал возвращения во Францию. Первый приезд туда «случился» в результате бесцельной, несвязной цепи событий, которые зависели от развода матери, её болезни, существования Маргарет и Джейн и их интереса к нам. Возвращение весной 1925 года, казалось, было предопределено. Мне казалось, что если будет необходимо, то я доберусь туда сам.

Моё разочарование во взрослом мире и непонимание его достигли пика к Рождеству. Я стал (я описываю свои чувства) в чём-то схож с костью, раздираемой двумя собаками. Ещё продолжался спор за опеку надо мной и Томом между Джейн и моим отцом, спор, из которого моя мать была исключена. Теперь я уверен, что обе стороны просто «спасали свою репутацию»; я не верю в то, что кто-то из них желал жить с нами из-за нашей особой ценности – я тогда, несомненно, поступал достаточно плохо для того, чтобы не быть особенно желанным. В любом случае, я согласился, или, по крайней мере, согласился подумать о том, чтобы посетить моего отца на Рождество. Когда же подошло время окончательного решения, я отказался. Контрпредложение Джейн о «взрослом» эффектном Рождестве – с вечеринками, посещениями театра и так далее – было мнимой, но удобной причиной для отказа от поездки к моему отцу. Моей настоящей причиной, однако, оставалось то же, что и всегда: Джейн, ка-

кими бы невозможными не казались мне наши отношения, была пропуском к Гурджиеву, и я делал всё возможное, чтобы достичь некоторого рода гармонии с ней. Так как Джейн не была ни непогрешимой, ни бесчувственной, моё решение – явно в её пользу – ей польстило.

Мой отец был очень расстроен. Я не мог понять почему, но после того, как я сказал ему о своём решении, он приехал в Нью-Йорк, чтобы заехать за Томом, согласившимся провести Рождество с ним, и привёз с собой несколько больших коробок с подарками для меня. Я был смущён подарками, но, когда он также попросил меня передумать, мне показалось, что он использовал подарки в качестве приманки; я был задет и взбешён. Мне показалось, что вся ложность и отсутствие «справедливости» во взрослом мире были воплощены в этом поступке. Выйдя из себя, я сказал ему в слезах, что меня нельзя купить, и что я буду всегда ненавидеть его за то, что он сделал.

Ради памяти о моём отце, я хотел бы отступить от повествования и сказать, что полностью сознаю его добрые намерения и могу представить тот ужасный эмоциональный шок, который он получил тогда. Что было печально и наверняка даже надрывало его сердце – так это то, что он не понимал, что происходило в действительности. В его мире дети не отвергали своих родителей.

Наконец зима закончилась, хотя мне продолжало казаться, что она бесконечна. Но она ушла, и с весной моё страст-

ное стремление в Приоре усилилось. Я не мог поверить, что действительно возвращаюсь во Францию, пока мы не оказались на корабле, направлявшемся туда. Я не переставал мечтать, верить и надеяться, пока вновь не прошёл через ворота Приоре.

Когда я снова увидел Гурджиева, он положил руку на мою голову, и я взглянул на его свирепые усы, широкую открытую улыбку и блестящий лысый череп. Подобно большому тёплому животному, он притянул меня к себе, нежно прижав рукой, и сказал: «Итак... вы вернулись?» Это было сказано, как вопрос, – что-то несколько большее, чем констатация факта. Всё, что я смог сделать, это кивнуть головой и сдержать рвущееся наружу счастье.



Глава 6

Второе лето – лето 1925 года – было возвращением домой. Я обнаружил, как и мечтал, что ничего существенно не изменилось. Были некоторые люди, оставившие занятия прошлым летом, и новые люди тоже были, но приезд и отъезд каждого не имел большого значения. Снова это место поглотило меня, я стал лишь маленьким винтиком в его большой работе. За исключением покоса газонов, которые стали задачей другого человека, я вернулся к обычной упорядоченной работе наряду со всеми.

В отличие от интерната, Институт обеспечивал ребёнку безопасность и непосредственное ощущение нахождения на своём месте. Может быть и правда, что цель работы с другими людьми в содержании школьной собственности – к которой так или иначе сводились все наши дела – имела другую, высшую цель. На моём уровне это позволяло мне чувствовать, что каким бы незначительным человеком я ни был, я являлся одним из маленьких существенных звеньев, сохранявших жизнь Школы. Это наделяло каждого из нас чувством значимости, ценности; мне трудно теперь представить себе что-нибудь ещё, что было бы более ободряющим для личности ребёнка. Все мы чувствовали, что у нас есть своё место в мире – мы нуждались в уверенности, что выполняем функции, которые важно выполнять. Мы не делали ничего

для нашей собственной пользы. Мы делали только то, что было нужно для общего блага.

В обычном смысле, у нас не было уроков – мы не «изучали» ничего вообще. Однако мы учились стирать и гладить для себя, готовить пищу, доить, рубить дрова, тесать, полировать полы, красить дома, ремонтировать, штопать свою одежду, ухаживать за животными – всё это в придачу к работе в больших группах над более важными проектами: строительством дороги, прореживанием леса, посевом и сбором урожая и так далее.

Тем летом в Институте произошли две большие перемены, которые я заметил не сразу. Зимой умерла мать Гурджиева, что произвело неуловимое эмоциональное изменение в ощущении места – она никогда не принимала активного участия в деятельности Школы, но все мы знали о её присутствии – и, что гораздо важнее, Гурджиев начал писать.

Примерно через месяц после того, как я прибыл туда, было объявлено, что будет произведена полная реорганизация работы Института и, ко всеобщему беспокойству, было также объявлено, что по различным причинам, главным образом потому, что у Гурджиева больше нет ни времени, ни энергии, чтобы наблюдать за учениками лично, никому не будет разрешено остаться здесь самовольно. В течение двух или трёх последующих дней Гурджиев переговорит с каждым учеником лично и сообщит, можно ли тому остаться и что он будет делать.

Общей реакцией было бросить всё и ждать до тех пор, пока судьба каждого не будет решена. На следующее утро, после завтрака, здания наполнились слухами и предположениями: каждый выражал свои сомнения и страхи по поводу будущего. Для большинства более старых учеников объявление, казалось, подразумевало, что школа потеряет для них ценность, так как энергия Гурджиева будет сконцентрирована на его писаниях, а не на индивидуальном обучении. Предположения и страхи нервировали меня. Так как я не представлял, что Гурджиев мог решить относительно моей судьбы, я нашёл более простым продолжать свою обычную работу по вырубке и удалению пней. Эта работа была поручена нескольким людям, но только один или двое вышли на работу этим утром. К концу дня было уже проведено много бесед, и определённом числу учеников сказали уехать.

На следующий день я пошёл на свою работу как обычно, но когда я собирался вернуться к своему занятию после обеда, меня вызвали на интервью.

Гурджиев сидел у дверей, на скамейке около главного корпуса, я подошёл и сел возле него. Он взглянул на меня, как бы удивившись моему существованию, спросил, чем я занимался, и особенно подробно, что я делал с тех пор, как было сделано объявление. Я рассказал, и тогда он спросил, хочу ли я остаться в Приоре. Я ответил, что, конечно же, хочу. Тогда он просто сказал, что рад моему согласию, потому что у него была новая работа для меня. Начиная со следующего дня, я

должен буду заботиться о его личной квартире: его комнате, туалетной комнате и ванной. Он передал мне ключ, сказав твёрдо, что есть только два ключа и другой находится у него, и объяснил, что я должен буду стелить постель, подметать, убирать, вытирать пыль, полировать, стирать, вообще поддерживать порядок. Когда потребует погода, я буду ответственным за разведение и поддержание огня; дополнительной обязанностью было то, что я также должен быть его «службой» или «официантом» – то есть, если он захочет кофе, алкоголя, еды или чего-нибудь ещё, я должен буду принести ему это в любой час дня или ночи. По этой причине, как он объяснил, в моей комнате будет установлен звонок.

Он также сказал, что я не буду больше занят в основных проектах, но мои дополнительные обязанности будут включать в себя обычную работу на кухне и швейцаром, хотя эти обязанности будут уменьшены в объёме для того, чтобы я мог выполнять работу смотрителя квартиры. Ещё одним новшеством было то, что я должен был заботиться о птичьем дворе: кормить кур, собирать яйца, резать кур и уток, когда требовалось и так далее.

Я был очень горд тем, что избран «опекуном» Гурджиева, а он улыбнулся на мою счастливую реакцию. Очень серьёзно он сообщил мне, что моё назначение было сделано экспромтом. Он отпустил ученика, который занимался этой работой, и когда я появился на беседу, он понял, что я был не столь важен для основных проектов, но как раз пригоден

для этой работы. Я почувствовал, что меня пристыдили за мою гордость, но был не менее счастлив от этого – я всё ещё чувствовал, что это было честью для меня.

Поначалу я видел Гурджиева не чаще, чем прежде. Рано утром я выпускал кур из курятника, кормил их, собирал яйца и относил на кухню. К тому времени Гурджиев обычно был готов к своему утреннему кофе, после которого он одевался и садился за один из небольших столиков около террасы, где он обычно писал по утрам. В это время я убирался в его комнате, что занимало довольно много времени. Кровать была громадной и всегда в большом беспорядке. Что же касается ванной и туалетной комнаты, то их состояние не может быть описано без проникновения в его личную жизнь; я могу только сказать, что физически Гурджиев жил как животное. Уборка грандиозных масштабов в этих двух комнатах была главным делом каждого дня. Беспорядок часто был таким огромным, что я созерцал внушительные гигиенические драмы, происходившие по ночам в туалетной комнате и ванной. Я часто чувствовал, что Гурджиев преследовал некую сознательную цель, доводя эти комнаты до такого состояния. Были случаи, когда я должен был использовать лестницу, чтобы очистить стены.

Лето ещё было в самом разгаре, когда объём моих обязанностей начал становиться огромным. Из-за того, что Гурджиев писал, в его комнате бывало намного больше посетителей – людей, которые работали над немедленным перево-

дом его книг на французский, английский, русский и, возможно, другие языки. Оригинал был комбинацией армянского и русского языков: Гурджиев говорил, что не смог найти ни одного языка, который давал бы достаточную свободу выражения его усложнённых идей и теорий. Мне прибавилось работы по «обслуживанию» всех, кто общался с Гурджиевым в его комнате. Это подразумевало подносить кофе и арманьяк, а также значило, что комната должна быть приведена в порядок после этих «конференций». Гурджиев во время таких встреч предпочитал ложиться на кровать. Фактически, я едва ли видел его в комнате не лежащим на кровати, за исключением случаев, когда он входил или выходил оттуда. Даже питьё кофе могло произвести разгром – кофе был повсюду в комнате, чаще в кровати, которая, конечно, должна была застилаться каждый раз свежим бельём.

Ходили слухи, и я не мог отрицать их, что в его комнате происходило что-то гораздо большее, чем просто питьё кофе или арманьяка. Обычное состояние комнаты по утрам указывало на то, что ночью там могла происходить почти любая человеческая деятельность. Не было никаких сомнений, что тут живут в полном смысле этого слова.

Я никогда не забуду, как я впервые был вовлечён в инцидент, что было чем-то большим, чем обычное исполнение моих обязанностей. У Гурджиева был почётный посетитель в тот день, А.Р. Орейдж, человек, которого мы все хорошо знали и считали уполномоченным учителем теории Гурджи-

ева. В тот день после завтрака они вдвоём удалились в комнату Гурджиева и вызвали меня, чтобы я, как обычно, принёс кофе. Рост Орейджа был такой, что все мы относились к нему с большим уважением. Его интеллект, преданность и честность были неоспоримы. Вдобавок, он был сердечным, сострадательным человеком, к которому лично я был сильно привязан.

Когда я подошёл к двери с подносом кофе и бренди, я заколебался, шокированный громкими пронзительными взбешёнными криками Гурджиева. Я постучал и, не получив ответа, вошёл. Гурджиев стоял у своей кровати в состоянии, как мне показалось, совершенно неконтролируемой ярости. Он кричал на Орейджа, который стоял невозмутимый и очень бледный, на фоне одного из окон. Я должен был пройти между ними, чтобы поставить поднос на стол. Я так и сделал, чувствуя, что мурашки бегают по коже от разъяренного голоса Гурджиева, и затем направился к выходу, стараясь не привлекать к себе внимания. Когда я дошёл до двери, то не смог удержаться, чтобы не посмотреть на них обоих: Орейдж, высокий мужчина, казался сморщенным и помятым, как бы провисшим в окне, а Гурджиев, в действительности не очень высокий, выглядел огромным – полным воплощением ярости. Хотя неистовство выражалось по-английски, я не мог разобрать слов – поток гнева был слишком сильным. Внезапно, в одно мгновение, голос Гурджиева смолк, весь его вид изменился, он подарил мне широкую

улыбку, посмотрев невероятно спокойно и внутренне тихо, показал мне жестом уйти, а затем возобновил свою тираду с той же силой. Это случилось так быстро, что я не верю, что Орейдж заметил нарушение в общем ритме.

Когда я впервые услышал доносящийся из комнаты голос Гурджиева, я ужаснулся. То, что этот человек, которого я уважал больше всех других людей, мог полностью утратить контроль, было ужасным ударом по моему уважению и восхищению им. Когда я проходил между ними, чтобы поставить поднос на стол, я не чувствовал ничего, кроме жалости и сострадания к мистеру Орейджу.

Теперь, когда я вышел из комнаты, мои чувства полностью изменились. Я был всё ещё в шоке от ярости, которую увидел в Гурджиеве; ужасался от этой ярости. В некотором смысле, я даже больше ужаснулся, когда вышел из комнаты, так как понял, что это была вовсе *не «неуправляемая»* ярость, но, на самом деле, ярость под огромным контролем, и он делал это совершенно сознательно. Я ещё чувствовал жалость к мистеру Орейджу, но был убеждён, что он, должно быть, сделал что-то ужасное – в глазах Гурджиева – чем дал основание для этой вспышки. Мне вообще не приходило в голову, что Гурджиев мог ошибиться в чём бы то ни было – я верил в него всем своим существом. Он не мог ошибаться. Довольно странно, и это трудно объяснить тому, кто не знал Гурджиева лично, но моя преданность ему вовсе не была фанатичной. Я не верил в него, как обычно верят в Бога. Он

для меня всегда был прав по простым, логичным причинам. Его необычный «образ жизни», даже такие вещи, как беспорядок в его комнате и требование кофе в любое время дня и ночи, казался намного более логичным, чем так называемый нормальный образ жизни. Когда он что-то хотел или в чём-то нуждался, то просто брал и делал, всё равно что. Он был неизменно заинтересован в других людях и был внимателен к ним. Он никогда не забывал, например, поблагодарить меня или извиниться, когда я, полусонный, приносил ему кофе в три часа утра. Я интуитивно знал, что такое внимание было чем-то значительно большим, чем обычным воспитанием. И, возможно, это было разгадкой – он всегда интересовался людьми. Когда бы я его не увидел, когда бы он ни приказывал мне, он знал меня в совершенстве, был полностью сосредоточен на каждом слове, которое говорил; его внимание никогда не блуждало, когда я разговаривал с ним. Он всегда знал точно, что я делал, что я сделал. Я думаю, что мы все должны были чувствовать (по крайней мере, я чувствовал), что когда он общался с нами, всё его внимание было направлено на нас. Я не могу придумать ничего более лестного для человеческих отношений.



Глава 7

Однажды утром в середине этого загруженного работой лета Гурджиев несколько резко спросил меня, хочу ли я ещё учиться. Он язвительно напомнил мне о моём желании изучить «всё» и спросил, не изменил ли я своё намерение. Я ответил, что нет.

«Почему же вы не спрашиваете об этом, если не передумали?»

Я сказал, сконфуженный, что не упоминал об этом по нескольким причинам. Одной из них было то, что я уже задавал этот вопрос и предполагал, что он не забыл об этом. Вторая причина в том, что он был очень занят писанием и общением с другими людьми, и я думал, что у него нет времени.

Гурджиев сказал, что я должен изучать мир. «Если хотите чего-то, вы должны спросить. Вы должны работать. Вы ожидаете, что я вспомню о вас, но я много работаю, намного больше, чем вы можете себе представить. Вы также не правы, если ожидаете, что я всегда помню то, что вы хотите». Затем он добавил, что я ошибся и в предположении, что он был слишком занят. «Если я занят, то это моё дело, а не ваше. Если я говорю, что научу, вы должны напомнить мне, помочь мне, спрашивая опять. Это покажет, что вы действительно хотите учиться».

Я робко признал, что ошибался, и спросил, когда мы начнем «уроки». Это было в понедельник утром, и он попросил меня прийти на следующее утро, во вторник, в его комнату в десять часов. Когда я наутро подошёл к двери, то, услышав, что Гурджиев уже встал, я постучался и вошел. Он стоял посреди комнаты полностью одетый. Как будто удивившись, он взглянул на меня. «Что вам нужно?» – спросил он неприветливо. Я объяснил, что пришёл на урок. Гурджиев посмотрел на меня так, как будто никогда не видел меня прежде.

«Вы решили, что прийти нужно этим утром?» – спросил он, как будто совершенно забыв.

«Да, – сказал я, – в десять часов».

Он посмотрел на часы на ночном столике. Они показали около двух минут одиннадцатого, а я был там по крайней мере целую минуту. Затем он обернулся ко мне, посмотрев на меня так, как если бы моё объяснение сильно помогло ему: «Этим утром, я помню, должно было что-то быть в десять часов, но я забыл, что. Почему вы не были здесь в десять часов?»

Я посмотрел на свои собственные часы и сказал, что я был здесь в десять часов.

Гурджиев встряхнул головой. «Вы опоздали на десять секунд. Человек может умереть за десять секунд. Я живу по своим часам – не по вашим. Если хотите учиться у меня, то должны быть здесь, когда мои часы показывают десять часов. Сегодня не будет урока».

Я не стал спорить, но набрался смелости и спросил, означает ли это, что «уроков» вообще не будет. Он сделал мне знак удалиться. «Уроки будут непременно. Приходите в следующий вторник в десять часов. Если необходимо, можете прийти раньше и ждать. Это чтобы не опоздать, – добавил он затем, и не без злобы, – если вы не слишком заняты, чтобы ждать учителя».

В следующий вторник я был там в четверть десятого. Гурджиев вышел из своей комнаты, когда я только собирался постучать – за несколько минут до десяти, улыбнулся и сказал, что рад тому, что я не опоздал. Затем он спросил, как долго я ждал. Я ответил, и он раздражённо тряхнул головой. «На прошлой неделе я сказал, – произнёс он, – что если вы не заняты, то можете прийти раньше и ждать. Я не говорил терять почти час времени. Теперь едем». Гурджиев велел принести из кухни термос с кофе и ждать его у автомобиля.

Мы немного проехали по узкой наезженной дороге, и Гурджиев остановил машину. Мы вышли; он велел мне взять с собой кофе, и мы пошли к поваленному дереву, недалеко от края дороги, чтобы сесть на него. Он остановился примерно в ста ярдах от группы работающих, которые выкладывали камнем канаву. Их работа заключалась в перетаскивании камней из двух больших куч к незаконченной секции канавы, где другие рабочие укладывали их в грунт. Мы безмолвно наблюдали за ними, пока Гурджиев пил кофе и курил, но он ничего мне не сказал. Через некоторое время, по крайней

мере через полчаса, я, наконец, спросил его, когда же начнётся урок.

Он посмотрел на меня со снисходительной улыбкой. «Урок начался в десять часов, – сказал он. – Что вы видите? Замечаете что-нибудь?»

Я сказал, что я вижу людей, и что единственной необычной вещью, которую я заметил, было то, что один из них ходил к куче, которая была дальше, чем другие.

«Как вы думаете, почему он это делает?»

Я сказал, что не знаю, но, кажется, он создаёт себе лишнюю работу, так как должен носить тяжёлые камни каждый раз с большего расстояния. Ему было бы намного легче ходить к ближней куче камней.

«Это верно, – сказал Гурджиев, – но нужно всегда посмотреть со всех сторон, прежде чем делать выводы. Этот человек также совершает приятную короткую прогулку в тени вдоль дороги, когда он возвращается за следующим камнем. К тому же, он неглуп. За день он переносит не так много камней. Всегда есть логическая причина, почему люди делают что-то определённым способом; необходимо найти все возможные причины, прежде чем судить людей».

Язык Гурджиева, хотя он уделял очень мало внимания грамотности, был всегда безошибочно ясным и чётким. Он не сказал больше ничего, и я чувствовал, что он, отчасти своей собственной сосредоточенностью, заставлял меня наблюдать всё, что происходило вокруг, с большим внимани-

ем. Остаток часа прошёл быстро, и мы вернулись в Приоре: он – к своим рукописям, а я – к домашнему хозяйству. Я должен был прийти в следующий вторник в то же время на очередной урок. Я не жил тем, что я что-то выучил или не выучил; я начал понимать, что «обучение» в гурджиевском смысле не зависело от неожиданных или очевидных результатов, и что никто не мог ожидать никаких немедленных потоков знаний или понимания. Всё больше и больше я чувствовал, что он распространяет знание своим образом жизни; замеченное или незамеченное, оно впитывалось и реализовывалось впоследствии.

Следующий урок был совершенно не похож на первый. Гурджиев велел мне привести в порядок всё в комнате, за исключением кровати, на которой лежал. Он всё время наблюдал за мной, не делая замечаний, пока я не разжёл огонь – было дождливое, сырое летнее утро, и в комнате было холодно, – когда я зажёл огонь, тот безжалостно закоптил. Я добавил сухих дров и старательно подул на угли, но с небольшим успехом. Гурджиев не стал ждать, а внезапно поднялся с кровати, взял бутылку коньяка, потеснил меня и плеснул на угасающий огонь – пламя вспыхнуло, а потом дрова равномерно разгорелись. Безо всяких объяснений он прошёл в туалетную комнату и оделся, в то время как я убирал кровать. И только когда он был готов выйти из комнаты, то сказал мимоходом: «Если вы хотите немедленно получить нужный результат, то должны использовать любые средства». Затем

он улыбнулся. «Когда меня нет, у вас есть время и нет необходимости использовать превосходный старый арманьяк».

И это был конец того урока. Уборка туалетной комнаты, которую он безмолвно привёл в беспорядок за несколько минут, заняла остаток утра.



Глава 8

Продолжая «полную реорганизацию» Школы, Гурджиев сообщил, что собирается назначить «директора», который будет наблюдать за учениками и их деятельностью. Он объяснил, что этот директор будет регулярно докладывать ему обстановку, поэтому он будет полностью информирован обо всём происходящем в Приоре. Однако его личное время почти полностью будет посвящено писанию, и он будет проводить большую часть времени в Париже.

Директором стала некая мисс Мэдисон, английская старая дева (как все дети называли её), которая до того времени заведовала цветниками. Для большинства из нас – детей – она всегда была несколько комической фигурой. Она была высокой и тощей, неопределённого возраста, угловатый образ венчался чем-то похожим на неопрятное гнездо поблёкших рыжеватых волос. Мисс Мэдисон обычно шествовала среди клумб, неся садовый совок, украшенная нитями рафии, привязанными к её поясу и ниспадающими от талии при ходьбе. Она взялась за директорство с рвением и увлечением.

Хотя Гурджиев сказал, что мы должны уважать мисс Мэдисон так, как если бы она была им самим, я как минимум сомневался, заслуживает ли она этого уважения; а также подозревал, что Гурджиев не будет так хорошо информирован,

как если бы он лично наблюдал за работой. Во всяком случае, мисс Мэдисон стала весьма важной фигурой в нашей жизни. Она начала с учреждения ряда правил и предписаний – я часто удивлялся, не происходила ли она из английской военной семьи – которые, по видимости, должны были упростить работу и, в общем, внести эффективность в то, что она называла бессистемной работой Школы.

Так как Гурджиев теперь отсутствовал по крайней мере половину каждой недели, мисс Мэдисон решила, что мне было недостаточно заботиться только о его комнате и курятнике. Кроме этого, я был назначен ухаживать за одной из наших лошадей и ослом, а также выполнять некоторые работы на клумбах под непосредственным наблюдением мисс Мэдисон. Вдобавок к этому, я был подчинён, как и все, большому количеству обычных мелких правил. Никто не мог покинуть территорию без специального разрешения мисс Мэдисон; наши комнаты проверялись через определённое время; короче говоря, была усилена обычная военная дисциплина.

Дальнейшим изменением, вызванным «реорганизацией» Школы, было прекращение ночных демонстраций танцев или гимнастики. По гимнастике всё ещё были занятия, но они проводились только около часа после обеда; в тех редких случаях, когда Гурджиев привозил на выходные гостей в Приоре, мы «выступали». По этой причине наши вечера были свободны всё лето, и многие из нас ходили на вечер в Фонтенбло – пешком около двух миль. Для детей там не бы-

ло ничего интересного, кроме как пойти иногда в кино, иногда на местную ярмарку или на карнавал. Но эта ранее неконтролируемая – в действительности, неупоминаемая – привилегия была важной для всех нас. До этого времени никто не беспокоился о том, чем мы занимались в свободное время, если мы присутствовали утром и были готовы работать. Столкнувшись с новым порядком, мы должны были иметь «пропуск», чтобы пойти в город – нам было сказано, что мы должны представить «уважительную причину» для каждой отлучки с территории школы, и мы взбунтовались. Общего договора противодействия или игнорирования этого правила не было. Но индивидуально никто не повиновался ему; никто никогда не просил «пропуска».

Мы не только не спрашивали разрешения, чтобы уйти с территории, но ходили в город даже тогда, когда у нас не было причины и желания. Мы, конечно, не уходили через передние ворота, где надо было показывать «пропуск» тому, кто выполнял обязанности швейцара, – мы просто перелезали через стену, уходя и возвращаясь. Мисс Мэдисон не отреагировала немедленно, но мы вскоре узнали, хотя и не могли представить себе, как это было возможно, что она ведёт точную регистрацию каждого отсутствия. Мы узнали о существовании этой регистрации от Гурджиева, когда, в одно из его возвращений в Приоре после нескольких дней отсутствия, он объявил всем нам, что у мисс Мэдисон есть «чёрная книжечка», в которую она заносит все «проступки» уче-

ников. Гурджиев также сказал нам, что пока держит при себе своё мнение о нашем поведении, но напоминает, что он назначил мисс Мэдисон директором, и мы обязаны слушаться её. Хотя это казалось технической победой для мисс Мэдисон, эта победа была совершенно пустой; он не сделал ничего, чтобы помочь ей в поддержании дисциплины.

Моё первое столкновение с мисс Мэдисон произошло из-за цыплят. Однажды после обеда, как раз после того, как Гурджиев уехал в Париж, я узнал от одного из детей – я убирал в комнате Гурджиева в это время – что мои цыплята, по крайней мере, несколько из них, нашли лазейку с птичьего двора и успешно разрыли клумбы мисс Мэдисон. Когда я прибыл на место происшествия, мисс Мэдисон неистово преследовала цыплят по всему саду, и вместе мы сумели вернуть их назад в загон. Ущерб цветам был нанесен небольшой, и я помог мисс Мэдисон, по её приказу, исправить все повреждения. Затем она сказала мне, что это я виноват в побеге цыплят, так как не содержал забор в должном порядке; а также, что мне не будет позволено покидать территорию Института в течение недели. Она добавила, что если обнаружит цыплёнка в саду ещё раз, то лично убьёт его.

Я отремонтировал изгородь, но, по-видимому, плохо – один или два цыплёнка убежали на следующий день и опять отправились на клумбы. Мисс Мэдисон сдержала своё обещание и скрутила шею первому пойманному цыплёнку. Так как я был очень привязан к цыплятам и даже дал им имена, я

отомстил мисс Мэдисон разрушением одной из её любимых посадок. Вдобавок, сугубо для личного удовлетворения, ночью я ушёл с территории в Фонтенбло.

На следующее утро мисс Мэдисон поставила меня перед серьёзной задачей. Она сказала, что, если мы не придём к пониманию, она всё расскажет Гурджиеву, и что она знает, что он не допустит никакого пренебрежения её авторитетом. Мисс Мэдисон также сказала, что я занимаю первое место в списке нарушителей в её чёрной книжке. В свою защиту я ответил, что цыплята полезны, а цветы – нет; что она не имела права убивать моего цыплёнка. Она возразила, что не мне судить, что она имеет право делать, а что нет, а также, что Гурджиев ясно дал понять, что ей надо повиноваться.

Так как мы не пришли к примирению или согласию, инцидент был вынесен на рассмотрение Гурджиева, когда он вернулся из Парижа в конце недели. Сразу же после возвращения, он, как обычно, пригласил мисс Мэдисон и надолго закрылся с ней в своей комнате. Я беспокоился в течение всего этого времени. В конце концов, каковы бы ни были мои доводы, я не подчинился ей, и не был уверен, что Гурджиев посмотрит на всё это с моей точки зрения.

В тот вечер после ужина он заказал кофе и, когда я его принёс, велел мне сесть. Затем он спросил о моей жизни в его отсутствие и как мне нравится с мисс Мэдисон. Не зная, что она рассказала ему, я ответил осторожно, что живу хорошо, но что Приоре очень изменилось с тех пор, как она

стала директором.

Он серьёзно посмотрел на меня и спросил: «Как изменилось?»

Я ответил, что мисс Мэдисон ввела слишком много правил, слишком много дисциплины.

Гурджиев ничего не ответил на это замечание, но затем сказал мне, что мисс Мэдисон рассказала ему о разорении клумб, и что она убила цыплёнка, но он хотел бы знать мой взгляд на эту историю. Я рассказал ему о своих чувствах к ней, и особенно, что я считал, что мисс Мэдисон не имела права убивать цыплёнка.

«Что вы сделали с убитым цыплёнком?» – спросил он меня.

Я сказал, что ощипал его и отнёс на кухню.

Он обдумал это, кивнул головой и сказал, что я должен понять, что цыплёнок не был потерян; а также, что в то время, как цыплёнок, хотя и умер, был использован, погибшие цветы, которые я в гневе вырвал с корнем, не могли послужить никакой цели – не могли, например, быть съедены. Затем он спросил меня, починил ли я изгородь. Я сказал, что повторно починил её, после того как цыплята снова выбежали. Он сказал, что это хорошо, и послал меня привести мисс Мэдисон.

Удручённый, я пошёл за ней. Я не мог отрицать логику того, что он сказал мне, но всё ещё обиженно чувствовал, что мисс Мэдисон не была полностью права. Я нашёл мисс Мэ-

дисон в её комнате, она, бросив на меня всезнающий, полный превосходства взгляд, проследовала со мной в комнату Гурджиева. Он велел нам сесть, а затем сказал ей, что уже рассказал мне о проблеме цыплят и клумб, и он уверен, – он посмотрел на меня при этих словах, – что здесь не должно быть больше затруднений. Затем он сказал неожиданно, что мы оба обманули его ожидания. Я обманул его ожидания тем, что не повиновался мисс Мэдисон, которую он назначил директором, а она обманула его ожидания тем, что убила цыплёнка, который был, между прочим, *его* цыплёнком; он не только был его цыплёнком, но был поручен мне под ответственность, и что поскольку я держал их в загоне, она не имела права его убивать.

Затем он сказал мисс Мэдисон удалиться, но пока она выходила, добавил, что он потратил много времени на объяснение всех этих вещей о цыплёнке и клумбах, а он сейчас очень занят, и одной из обязанностей директора было освободить его от таких незначительных, но занимающих время проблем.

Мисс Мэдисон покинула комнату – Гурджиев показал, чтобы я остался, – и он спросил меня, чувствую ли я, что научился чему-то. Я был удивлён вопросом и не знал, что ответить, кроме как сказать, что не знаю. Именно тогда, я думаю, он впервые упомянул прямо об одной из основных задач и целей Института. Он сказал, пренебрегая моим неудовлетворительным ответом, что в жизни наиболее трудной вещью

и, возможно, наиболее важной является необходимость научиться уживаться с «неприятными проявлениями других». Он сказал, что наша история была, сама по себе, совершенно незначительной. Цыплёнок и клумба не имели значения. Важным было поведение моё и мисс Мэдисон; что, если бы каждый из нас «осознавал» своё поведение, а не просто реагировал на другого, проблема была бы решена без его вмешательства. Гурджиев сказал, что по сути – ничего не случилось, кроме того, что мисс Мэдисон и я уступили своей обоюдной враждебности. Он ничего не добавил к этому объяснению, я был озадачен и сказал ему об этом. Он ответил, что я, вероятно, пойму это позже, в жизни. Затем он прибавил, что мой урок состоится следующим утром, хотя это и не вторник; и извинился, что из-за загруженности работой он не может проводить уроки регулярно по расписанию.



Глава 9

Когда я пришёл на урок следующим утром, Гурджиев выглядел очень утомлённым. Он сказал, что очень тяжело работал – большую часть ночи, что писание является очень сложным делом. Он лежал в кровати и не вставал в течение всего урока. Гурджиев начал рассказывать об упражнении, которое все мы должны были делать, и которое я упоминал ранее как «самонаблюдение». Он сказал, что это очень трудное упражнение, и он хочет, чтобы я делал его с полной и как можно более устойчивой концентрацией. Он также сказал, что основной трудностью в этом упражнении, как и во многих упражнениях, которые он давал – или даст в будущем – мне или другим ученикам, было то, что выполняя его, не нужно ожидать никаких результатов, только тогда оно будет выполнено правильно. В этом особом упражнении важным было то, что нужно было увидеть себя, наблюдать своё механическое, автоматическое поведение без комментариев, не пытаясь его изменить. «Если будете менять, – сказал Гурджиев, – то никогда не увидите реальность. Будете видеть только изменение. Когда вы начнёте изучать себя, вы изменитесь, или сможете измениться, если захотите – если такое изменение желательно».

Он продолжал говорить, что его работа не только очень трудна, но может быть также опасной для некоторых людей.

«Эта работа не для всех, – сказал он. – Например, если кто-то хочет учиться, чтобы стать миллионером, необходимо посвятить всю молодость этой цели, а не другой. Если есть желание стать священником, философом, учителем или бизнесменом – не стоит приходить сюда. Здесь учат только *возможности* стать человеком, который неизвестен в наше время, особенно в западном мире».

Затем он попросил меня посмотреть в окно и сказать, что я вижу. Я сказал, что вижу только дуб. «А что на дубе?» – спросил он. Я ответил: «Жёлуди».

«Сколько желудей?»

Когда я ответил, несколько неуверенно, что не знаю, Гурджиев сказал нетерпеливо: «Не точно, я спросил не это. *Предположите*, сколько!»

Я предположил, что на дубе их было несколько тысяч.

Он согласился, а затем спросил меня, сколько желудей станет взрослыми деревьями. Я ответил, что, наверное, только пять или шесть из них, не больше.

Гурджиев кивнул. «Возможно только один, возможно даже ни одного. Нужно учиться у Природы. Человек – это тоже организм. Природа делает много желудей, но возможность стать деревом существует только для немногих. То же и с человеком – рождается много людей, но только некоторые вырастают. Люди думают, что остальные – это потеря, думают, что Природа несёт убытки. Это не так. Остальные становятся удобрением, идут назад в землю и создают возможность

для других желудей, других людей, стать большим деревом, реальным человеком. Природа всегда даёт – но даёт только возможность. Чтобы стать взрослым дубом, или настоящим человеком, нужно прилагать усилия. Вы понимаете, что моя работа, этот Институт не для удобрений. Только для реального человека. Но нужно также понять, что удобрение необходимо Природе. Возможность для настоящего дерева, настоящего человека, также зависит от этого удобрения».

После долгого молчания, Гурджиев продолжал: «В западном мире верят, что человек имеет душу, данную Богом. Это не так. Ничего не дано Богом – только Природа даёт. А Природа не даёт душу, даёт только возможность для души. Можно приобрести душу через работу. Но, в отличие от дерева, у человека много возможностей. Так, как теперь существует человек, он также имеет возможность вырасти случайно – вырасти неправильным путём. Человек может стать не только удобрением, не только настоящим человеком: может стать тем, кого вы называете «добрым» или «злым», но это на самом деле неважно для человека. Настоящий человек не добрый или злой, настоящий человек – это только сознательный человек, желающий приобрести душу для истинного развития».

Я слушал его сосредоточенно и напряжённо, и моим единственным чувством – мне было тогда двенадцать лет – было замешательство, непонимание. Я чувствовал важность того, что он говорил, но не понимал его слов. Как будто зная

об этом (а это, несомненно, было так), он сказал: «Думайте о добре и зле, как о правой и левой руке. У человека две руки, две стороны себя – добрая и злая. Одна может разрушить другую. Нужно задаться целью, чтобы обе руки работали вместе, а для этого нужно приобрести нечто третье; то, что примиряет обе руки, импульс хорошего и импульс плохого. Человек, который только «добрый» или только «злой» не является цельным человеком, он односторонний. Тем третьим является совесть; возможность приобрести совесть уже есть в человеке, когда он рождается; эта возможность даётся – бесплатно – Природой. Но это только возможность. Реальная совесть может быть приобретена только работой, а сначала изучением себя. Даже в вашей религии – западной религии – есть это выражение: «познать себя». Эта фраза наиболее важная во всех религиях. Когда начинается познание себя – уже появляется возможность стать истинным человеком. Таким образом, то, что нужно приобрести в первую очередь, это знание самого себя посредством этого упражнения самонаблюдения. Если не делать этого, тогда будете подобны жёлудю, который не стал деревом, а стал удобрением. Удобрением, которое вернулось обратно в почву и стало возможностью для будущего человека».



Глава 10

Как будто само собой, автоматически, директорство мисс Мэдисон стало таким, что мы смогли жить без дальнейших трудностей. Надо было много работать; обычная работа по поддержанию функционирования школы, усиленная забота каждого о правилах и предписаниях и о том, как работать, достигли совершенства. К тому же нас было много, и физическая организация была слишком большой для мисс Мэдисон (которая не отказалась от своего никогда не кончавшегося садоводства), чтобы она могла наблюдать за каждым постоянно и индивидуально. Единственным конфликтом, который случился между мной и мисс Мэдисон тем летом и был достаточно громким, чтобы привлечь внимание Гурджиева, был инцидент с Японским садом.

Задолго до того, как я появился в Приоре, одним из проектов Гурджиева было строительство, которое он назвал «Японским садом». Используя воду из канала, который проходил по территории, был создан остров в лесу. На острове был построен небольшой, шести- или восьмисторонний павильон в восточном стиле, и типичный японский арочный мостик, который вёл на остров. Всё это выглядело по-восточному и было любимым местом уединения по воскресеньям, когда не нужно было выполнять обычные задания. Один из учеников – взрослый американец – пришёл туда вместе со

мной в воскресенье после обеда; он недавно прибыл в школу и, если я правильно помню, мы оказались там потому, что я показывал ему, что и где находится в Приоре. В то время было обычной практикой для одного из детей показывать вновь прибывшим всё, что есть на площади семидесяти пяти акров – различные огороды, турецкую баню, место текущего проекта и так далее.

Мы с моим спутником остановились отдохнуть в Японском саду, и он, как будто насмехаясь над садом, сказал мне, что, несмотря на то, что сад мог бы быть «японским» по сути, это совершенно разрушалось присутствием прямо перед дверью в маленький павильон двух гипсовых бюстов, Венеры и Аполлона. Моя реакция была немедленной и рассерженной. Также, несколько странным способом, я почувствовал, что критика бюстов была критикой вкуса Гурджиева. По разным причинам я с вызовом сказал американцу, что исправлю положение, и немедленно сбросил оба бюста в воду. Я помню чувство, что я, поступая таким образом, каким-то неясным способом защищал честь Гурджиева и его вкус.

Мисс Мэдисон, чьи источники информации были всегда загадкой для меня, узнала об этом. Она сказала мне, угрожая, что это своевольное уничтожение бюстов не может пройти незамеченным, и что мистер Гурджиев будет извещён о том, что я сделал, немедленно по его возвращении из Парижа.

Так как следующее возвращение Гурджиева из Парижа

было в выходные дни, его сопровождали несколько человек, приехавших с ним в машине, к тому же было очень много других гостей, добравшихся поездом или на своих машинах. Как и всегда, когда он возвращался из своих поездок, все ученики после обеда собрались в главной гостиной Приоре. В присутствии всех (это было скорее подобно собранию акционеров) Гурджиев выслушал официальный отчёт мисс Мэдисон, охватывавший обычные события, которые случились в его отсутствие. За этим рапортом следовало резюме мисс Мэдисон о всяких проблемах, которые возникли и которые, как ей казалось, нуждались во внимании Гурджиева. По этому случаю она села рядом с ним, чёрная книжка была решительно открыта у неё на коленях, она что-то недолго говорила ему – убеждающе, но не настолько громко, чтобы мы могли слышать. Когда она закончила, он сказал, чтобы вышел вперёд тот, кто уничтожил статуи в Японском саду.

Упав духом, я вышел вперёд, смущённый присутствием всех учеников и большого числа высокопоставленных гостей; я злился на себя за необдуманый поступок. В тот момент я подумал, что нет оправдания тому, что я сделал.

Гурджиев, конечно, спросил меня, почему я совершил это злодеяние, а также понимаю ли я, что уничтожение имущества было, в действительности, преступным? Я сказал: «Я понимаю, что не должен был делать этого. Но я сделал это потому, что статуи были несоответствующего исторического периода и цивилизации, и они не должны были стоять там

на первом месте». Я умолчал про американца.

С большим сарказмом Гурджиев сообщил мне, что хотя моё знание истории могло произвести глубокое впечатление, я, тем не менее, уничтожил «статуи», которые принадлежали ему; что он лично руководил их установкой там; что, на самом деле, ему нравились греческие статуи в японских садах, во всяком случае конкретно в этом Японском саду. Ввиду того, что я сделал, он сказал, что я должен быть наказан, и что моё наказание будет заключаться в отказе от моих «шоколадных денег» (так назывались любые детские «деньги на расходы» или «карманные деньги») до тех пор, пока статуи не будут возвращены на место. Он поручил мисс Мэдисон выяснить стоимость эквивалентной замены и взыскать эту сумму с меня, как бы долго это не продолжалось.

Главным образом, из-за моего семейного положения – у Джейн и Маргарет почти не было денег в то время, и, конечно, никто не мог дать их нам – у меня не было так называемых «шоколадных денег»; по крайней мере, у меня не было ничего, что можно было бы назвать регулярным доходом. Единственными деньгами на расходы, которые я когда-либо получал в то время, были нечастые переводы, которые моя мать посылала мне из Америки – на мой день рождения или на Рождество или, иногда, по непонятной причине. В этот конкретный моменту меня не было денег вообще, а я также был уверен, что статуи должны быть ужасно дорогими. Я предвидел вечность, в течение которой я должен буду

передавать все деньги, которые как-либо получу, чтобы заплатить за мой опрометчивый поступок. Это была ужасная перспектива, особенно потому, что мой день рождения уже был несколько месяцев тому назад, а Рождества нужно было ещё несколько месяцев ждать.

Моё мрачное безденежное будущее внезапно закончилось, когда я совершенно неожиданно получил чек на двадцать пять долларов от моей матери. Прежде чем отдать чек мисс Мэдисон, я узнал от неё, что «статуи» были простыми гипсовыми слепками, и будут стоить около десяти долларов. Даже с этой суммой мне было нелегко расстаться. Двадцати пяти долларов мне могло хватить, по крайней мере, до Рождества.

На следующем собрании мисс Мэдисон сообщила мистериу Гурджиеву, что я отдал ей деньги для новых «статуй» – он отказывался даже слышать слово «бюст» – и спросила, заменять ли их.

Гурджиев некоторое время обдумывал этот вопрос, а затем, наконец, сказал «нет». Он позвонил мне к себе, вручил мне деньги, которые она отдала ему, и сказал, что я могу оставить их себе, но при условии, что поделюсь ими со всеми другими детьми.

Он также сказал, что, хотя я был не прав, уничтожив его собственность, он хотел, чтобы я знал, что он думал обо всем этом, и что я был прав о неуместности тех «статуй» на этом месте. Он предложил, чтобы я заменил их подходящими ста-

туями, хотя мне не нужно было делать это прямо сейчас. К этому инциденту мы никогда больше не возвращались.



Глава 11

К концу лета я узнал, что Гурджиев планирует поехать в Америку с длительным визитом – вероятно, на всю зиму 1925–26 годов. В моём уме автоматически возник вопрос о том, что будет с Томом и со мной, но всё быстро решилось: к моему великому облегчению, Джейн сказала нам, что решила поехать обратно в Нью-Йорк, но Том и я останемся на эту зиму в Приоре. В один из выходных она взяла нас в Париж и представила Гертруде Стайн и Элис Б. Токлас; Джейн как-то убедила Гертруду и Элис присматривать за нами в её отсутствие.

В наши редкие визиты в Париж мы встречались со многими известными людьми: Джеймсом Джойсом, Эрнестом Хемингуэем, Константином Бранкузи, Жаком Лившицем, Тристаном Тцара и другими, большинство из которых в то или иное время сотрудничали с Little Review. Ман Рэй сфотографировал нас обоих; Поль Челищев, после двух или трёх дней последовательной работы над моим пастельным портретом, выгнал меня из своей студии, сказав, что меня нельзя нарисовать. «Вы выглядите так, как все, – сказал он. – И ваше лицо никогда не бывает неподвижным».

Я был слишком юным или слишком эгоистичным в те времена, чтобы полностью осознать привилегию, если так можно сказать, знакомства или встреч с такими людьми. Вооб-

ще, они не производили слишком сильного впечатления на меня; я не понимал их разговоров и был осведомлён об их важности только потому, что мне сказали об этом.

Из всех этих людей на меня производили подлинное впечатление Хемингуэй и Гертруда Стайн. На нашей первой встрече с Хемингуэем, чья книга «Прощай, оружие» ещё не была опубликована, он поразил нас своими рассказами о бое быков в Испании; с большим увлечением он разорвал рубашку, чтобы показать нам свои «боевые шрамы», а затем упал на четвереньки, раздетый до пояса, чтобы изобразить быка для своего первого ребёнка, тогда ещё маленького.

Гертруда Стайн оказала на меня существенное влияние. Джейн давала мне прочитать кое-что из её книг – я не помню, что это было – что я нашёл совершенно бессмысленным; по этой причине я был смутно встревожен перспективой встречи с ней. Но она сразу же понравилась мне. Эта женщина оказалась простой, прямой и чрезвычайно дружелюбной. Она сказала нам, – у неё были столь «деловые» качества, что она обратилась ко мне, как к ребёнку, – что мы будем посещать её каждый второй четверг в течение зимы, и что наше первое посещение должно состояться на день Благодарения. Хотя я переживал об отсутствии Гурджиева – я чувствовал, что Приоре не могло быть тем же самым без него, – моя неожиданная привязанность к Гертруде и уверенность, что мы будем видеть её регулярно, были значительным утешением.

Гурджиев только один раз сказал мне прямо о своей приближавшейся поездке. Он сообщил, что собирается оставить мисс Мэдисон заведовать всем, и мне нужно будет – так же, как и всем остальным – работать с ней. Мисс Мэдисон больше не беспокоила и не пугала меня, я привык к ней, и я заверил Гурджиева, что всё будет хорошо. Затем он сказал, что это очень важно – научиться ладить с людьми. Важно только в одном отношении – научиться жить со всякими людьми и во всех ситуациях; жить в том смысле, чтобы не реагировать на них автоматически.

Перед своим отъездом он созвал на собрание некоторых учеников и мисс Мэдисон. Гурджиев пригласил в основном американцев, только тех, кто собирался остаться в Приоре во время его отсутствия, – исключая его собственную семью и старых учеников и последователей, которые были с ним многие годы и которые, по всей видимости, не были подчинены дисциплине мисс Мэдисон. У меня было чувство, что непосредственно семья Гурджиева, его брат, невестка и трое детей не были такими же «последователями» или «учениками», как все остальные, а были просто «семьей», которую он содержал.

На этом собрании или встрече мисс Мэдисон всем подавала чай. Сейчас мне кажется, что это была её идея, к тому же она предприняла попытку «быть на короткой ноге» с теми учениками, которые будут на её попечении в течение пред-

стоящей зимы. Мы все слушали, как она и Гурджиев обсуждали различные аспекты работы Института – главным образом текущие проблемы, распределение работы и т. д. – но единственным особым воспоминанием о той встрече было то, как мисс Мэдисон подавала нам чай. Вместо того чтобы сидеть на месте, наливать чай и передавать его нам, она, наливая каждую чашку, вставала и каждому её подносила. К несчастью для неё, мисс Мэдисон имела физическую слабость – столь деликатную на самом деле, что она выглядела своего рода изяществом – слабо испускать «дух» каждый раз, когда она наклонялась, а это нужно было делать, подавая чашку чая. Неизбежно происходил едва слышный одиночный «хлопок», при котором она немедленно говорила «извините меня» и выпрямлялась.

Все мы были позабавлены и смущены этим, но никто не веселился больше, чем Гурджиев. Он внимательно наблюдал за мисс Мэдисон со слабой улыбкой на лице, и для него невозможно было не заметить, как все мы «прислушивались» к ней. Как будто не в состоянии себя дальше сдерживать, он начал говорить. Он сказал, что мисс Мэдисон является особым человеком, со многими качествами, которые могли быть не сразу заметны случайному зрителю (когда Гурджиев хотел, он мог быть очень многословным и говорить по-английски очень красиво, цветисто). В качестве примера одного из таких качеств, он сослался на то, что она имела совершенно исключительный способ обслуживания чаем

в сопровождении небольшого резкого «выстрела», подобно маленькой пушке. «Но так деликатно, так утонченно, – сказал он, – что необходимо быть бдительным и весьма восприимчивым, чтобы заметить это». Он продолжал отмечать, что мы должны обратить внимание на её крайнюю воспитанность – она неизменно извинялась сама после каждого раза. Затем он сравнил эту её «добродетель» с другими светскими приличиями, заявив, что она была не только необычной, но совершенно новой и оригинальной даже для него, с его большим жизненным опытом.

Невозможно было не восхищаться самообладанием мисс Мэдисон во время этого безжалостного бесконечного комментария о её неудачной особенности. В то время как это было очевидное «пукание», никто из нас не мог даже про себя употребить это грубое слово. То, как Гурджиев говорил об этом, вызвало у нас почти любовь, заставило нас проникнуться симпатией и нежностью к мисс Мэдисон. «Окончательным результатом» этого безжалостного каламбура было то, что все мы почувствовали такую непосредственную, истинную симпатию к мисс Мэдисон, какой никто из нас не испытывал прежде. С тех пор я часто думал, использовал ли Гурджиев эту незначительную слабость в непробиваемой на вид «бронне» мисс Мэдисон для того, чтобы спустить её с уровня строгого «директора» к какому-то более человеческому представлению в умах присутствовавших. С того времени для нас стало совершенно невозможным воспринимать мисс

Мэдисон слишком серьёзно; и было точно так же невозможно не любить её – она казалась теперь даже более человеческой и так же подверженной ошибкам. Что касается меня самого, я никогда более не слышал деликатного «пукания» без ассоциации с нежным воспоминанием о мисс Мэдисон.

Я не буду теперь заявлять, что особенность мисс Мэдисон заставила меня действительно полюбить её, но она определённо подвела довольно близко к этой цели. Было время, когда мы были способны работать вместе без трудностей или враждебности, и я объясняю существование этих периодов этой слабостью или, по крайней мере, моей памятью о ней. Для меня было и остаётся невозможным всем сердцем презирать любого, кто является, по какой-нибудь причине, комической фигурой. Был и грустный аспект данной истории: с этого момента привычка стала всеобщей – мы неизбежно смеялись и над собой так же, как тогда, когда мы подшучивали над мисс Мэдисон за её спиной. Даже фраза, что мы всегда всё делали «за её спиной», немедленно приобретала весёлый оттенок. Действительно, ничего не могло быть более подходящим для неё. Даже одного её «выстрела» или упоминания о нём было достаточно, чтобы вызвать в нас взрывы смеха. И мы, конечно же, как дети, отпускали беспощадные шутки с подробностями о возможности разрушения стен в её комнате от постоянного заградительного огня.

Со своей стороны, мисс Мэдисон продолжала управлять школой, деятельная, строгая и преданная; и со случайными

резкими «хлопками», будто подчёркнутыми обычными извинениями.



Глава 12

Без Гурджиева Приоре стало другим, но это случилось не только из-за его отсутствия. Сама зима изменила ритм и распорядок. Все мы впали в то, что по сравнению с деятельным летом выглядело своеобразной зимней спячкой. Почти не велись работы над внешними «проектами», и большинство наших обязанностей ограничивалось такими делами, как работа на кухне (намного чаще, чем прежде, потому что было слишком много случайных людей), выполнение обязанностей швейцара, рубка дров и разнос их по комнатам, поддержание чистоты в доме и, в моём случае, учёба в обычном смысле слова. Одним из оставшихся на зиму учеников был американец, недавно окончивший колледж. Почти каждый вечер, иногда по несколько часов, я изучал с ним английский язык, а также математику. Я жадно читал, будто изголодавшись по этому виду обучения, и мы тщательно разобрали всего Шекспира, а также оксфордские издания английских стихов и баллад. Сам я читал Дюма, Бальзака и многих других французских писателей.

Однако самые заметные переживания той зимы были связаны с Гертрудой Стайн и, в меньшей степени, с Элис Токлас.

Наш первый визит в Париж к Гертруде был незабываем. Мы, конечно, были счастливы в Приоре, и это не обсуждалось, но Том и я скучали по многим вещам, которые были

по сути американскими. Тот первый визит был в День Благодарения – праздник, который ничего не значил для французов или учеников Приоре. Мы прибыли к Гертруде на Рю де Флёр около десяти часов утра, позвонили, но нам никто не ответил. Элис, очевидно, ушла куда-нибудь, а Гертруда, как мы вскоре узнали, была в ванной на втором этаже. Когда я позвонил второй раз, сверху показалась голова Гертруды, и она бросила нам в окно связку ключей. Мы сами вошли и расположились в гостиной, пока она была в ванной. Такая ситуация возникала каждый раз, когда мы приезжали в Париж, – очевидно Гертруда принимала ванну каждый день или, по крайней мере, каждый четверг в одни и те же часы.

Большая часть дня прошла в долгом, но очень приятном разговоре с Гертрудой. Я понял позже, что это был настоящий перекрестный допрос. Она расспрашивала нас обо всей нашей жизни, об истории нашей семьи, наших отношениях с Джейн и с Гурджиевым. Мы отвечали со всеми подробностями, и Гертруда, слушая терпеливо и без комментариев, никогда не прерывала нас, за исключением момента, когда задавала следующий вопрос. Мы говорили довольно долго, уже было далеко за полдень, когда внезапно появилась Элис, чтобы объявить обед – к тому времени я уже и забыл, что был День Благодарения – и Гертруда усадила нас за накрытый стол.

Такого Дня Благодарения у меня никогда не было. Впечатление, я полагаю, усилилось тем, что всё это было совер-

шенно неожиданно, а количество и внешний вид блюд были очень зрелищными. Я очень растрогался, когда узнал, что большинство традиционных американских блюд – включая сладкую картошку, тыквенный пирог, алтей, клюкву, всё то, о чём и не слышали в Париже – были специально заказаны из Америки для этого обеда.

В своей обычной прямой уверенной манере Гертруда сказала, что, по её мнению, американским детям нужен американский День Благодарения. Она столь же уверенно выразила некоторые сомнения о том, как мы жили. Она подозрительно относилась к Джейн и Гурджиеву как к «воспитателям» или «опекунам» каких-либо детей, и убедительно заявила, что намеревается взять в свои руки наше воспитание и образование, начиная со следующего визита. Гертруда добавила, что жизнь с «мистиками» и «артистами», возможно, очень хороша, однако бессмысленна для двух американских мальчиков как постоянная диета. Она составит план наших будущих визитов к ней, что принесёт, по её мнению, больше пользы. Мы уехали из Парижа в тот вечер поздно, вернулись в Фонтенбло, и я мог ещё раз вспомнить теплоту и счастье, которые я чувствовал в тот день, и, особенно, сильную привязанность к Гертруде и Элис.

План Гертруды, который она описала нам во время следующей встречи, был захватывающим. Она сказала, что я уже много чему научился и много чего прочёл, и хотя встречи с интеллектуалами и артистами могли быть своеобразным по-

ощрением для нас, она считала, что у нас есть благоприятная возможность, которой мы не должны пренебрегать – шанс близко узнать Париж. Это было важным по многим причинам, среди которых та, что исследование и изучение города было понятной и доступной деятельностью для детей нашего возраста. Это исследование навсегда оставит в нас свой след, и этим позорно пренебрегать. Гертруда полагала, что у нас будет достаточно времени в будущем, когда мы повзрослеем, чтобы изучить более непонятные области, такие, как гуманитарные науки и искусства.

Мы начали с ряда экскурсий, которые продолжались в течение всей зимы, за исключением дней, когда мешала погода, но таких было немного. Мы залезали в «Форд» модели «Т» – Гертруда за рулём, Элис и Том втискивались впереди с ней, в то время как я сидел за Гертрудой на ящике с инструментами с левой стороны по ходу машины. Моей задачей в этих экспедициях было дуть в гудок по команде Гертруды. Это требовало моего полного внимания, потому что Гертруда недавно села за руль, и старая машина величественно и решительно приближалась с «моими» повторяющимися гудками к перекрёсткам и поворотам.

Мало-помалу мы объездили Париж. Первыми достопримечательностями были: Нотр-Дам, Сакре-Кёр, Дом Инвалидов, Эйфелева башня, Триумфальная арка, Лувр (сначала снаружи – мы, по мнению Гертруды, увидим достаточно картин в своё время), Консьержери, Сент-Шапель.

Когда мы посещали какой-нибудь памятник или постройку, на которые был (или мог быть) сложный подъём, Гертруда неизменно передавала мне красный шёлковый шарф. Мне поручали подняться (в случае Эйфелевой башни мне позволили подняться лифтом) на вершину памятника, а затем помахать Гертруде сверху красным шарфом. Вопросы о недостатке доверия не было. Она говорила прямо, что все дети очень ленивы. Она могла доказать своей собственной совестью, что я действительно совершил подъём, когда она видела сверху красный шарф. Во время этих восхождений она и Элис оставались сидеть в «Форде» в каком-нибудь заметном месте под нами.

От зданий мы перешли к паркам, площадям, бульварам, главным улицам и, в особых случаях, к длительным экскурсиям в Версаль и Шантильи – в места, которые вполне подходили для однодневных путешествий. Кульминационной точкой этих дней была сказочная еда, приготовленная Элис. Обычно она ухитрялась приготовить что-нибудь для нас прямо на ходу, но её преданность кулинарному искусству была такова, что порой она чувствовала, что не сможет сопровождать нас. Со своей стороны, Элис давала нам гастрономическое образование.

От этих экскурсий у меня осталось приятное чувство Парижа, некий его вкус, который я не мог бы испытать другим способом.

Гертруда читала нам лекции о каждом месте, которое мы

посещали, рассказывала нам о его истории, о различных людях прошлого, которые создали эти места или жили в них. Её лекции никогда не были слишком долгими, никогда не надоедали; она имела особый талант для воссоздания чувства места – она могла представить его живым. Гертруда научила меня интересоваться историей, и убедила исследовать Фонтенбло в свободные от Приоре дни. Она рассказывала мне многое о нём ещё до того, как я побывал там, и сказала, что не видит причины сопровождать меня, так как это было рядом с нами.

Я никогда не забуду ту зиму: долгие вечера чтения и обучения в наших тёплых комнатах, более или менее свободную будничную жизнь в Приоре, постоянные ожидания визитов в Париж к Гертруде и Элис. Единственным мрачным неприятным фактом в течение зимы было напоминание мисс Мэдисон о том, что я, в конце концов, стал халтурить в своих обязанностях. Она предупредила меня, что я снова возглавляю список в чёрной книжке, которую она неотступно вела, но я не обращал внимания на её предупреждения. Главным образом, благодаря Гертруде и чтению, я жил в прошлом – гуляя среди историй, королей и королев.



Глава 13

Кроме группы детей, родственников Гурджиева и нескольких взрослых американцев, единственными людьми, которые не уехали с ним в Америку, были пожилые люди – большей частью русские, – которые, казалось бы, не подходили под категорию учеников. Я не знаю, почему они были здесь, если не учитывать то, что они выглядели теми, кого можно было назвать «нахлебниками», а по сути – иждивенцами. Трудно, если не невозможно, представить себе, чтобы они, в каком бы то ни было смысле, интересовались философией Гурджиева; и они составляли, наряду с семьёй Гурджиева, ту группу, которую мы называли просто «русские». Они как бы представляли Россию, которой больше не существовало. Я сделал вывод, что большинство из них бежали из России (все они были «белыми» русскими) с Гурджиевым, и были подобны изолированному остатку прежней цивилизации, оправдывая своё существование работой без какой-либо очевидной цели. Им могла быть поручена любая домашняя работа, в обмен на пищу и кров.

Даже во время деятельного лета они жили своей отдельной жизнью: читали русские газеты, обсуждали русскую политику, собирались вместе пить чай после обеда и вечером; они жили прошлым, словно не сознавая настоящего и будущего. Мы виделись с ними лишь за едой и в турецкой бане,

и они очень редко принимали участие в групповых рабочих проектах.

Среди этих «беженцев» был замечен один человек, лет примерно шестидесяти, по фамилии Рахмилевич. Он отличался от «русских» тем, что проявлял неистощимое любопытство ко всему, что происходило. Он был угрюмым, суровым типом, полный пророчествами о несчастьях, абсолютно всем недовольный. Он постоянно жаловался на пищу, на условия, в которых мы жили: вода никогда не была достаточно горячей, не хватало топлива, погода слишком холодная или слишком жаркая, люди недружелюбны, мир приходит к концу. На самом деле, всё на свете – любое событие и любое состояние – было чем-то, что он мог обернуть в бедствие или, по крайней мере, в препятствующее обстоятельство.

Дети, наполненные энергией, не имея возможности применить её в течение долгих зимних дней и вечеров, ухватились за Рахмилевича как за мишень для своих неиспользованных жизненных сил. Мы все насмеялись над ним, передразнивали его манеры и делали всё, чтобы превратить его жизнь в долгий, непрерывный ад. Когда он входил в столовую, мы начинали жаловаться на пищу; когда он пытался читать русскую газету, мы выдумывали воображаемый политический кризис. Исполняя обязанности швейцара, мы утаивали его почту, прятали его газеты, крали у него сигареты. Его нескончаемые жалобы также раздражали других «русских», и они не только ничего не делали, чтобы остановить нас, но

тонко и без какого-либо упоминания его имени одобряли и подстрекали нас.

Не удовлетворившись травлей в течение дня, мы достигали цели, не ложась спать до тех пор, пока он не выключал свет в своей комнате; тогда мы собирались в коридоре напротив двери в его спальню и начинали громко разговаривать о нём, изменяя свои голоса в надежде, что он не сможет узнать, кто именно говорит.

Понятно, что он, к сожалению, совершенно не мог игнорировать нашу деятельность, так как мы не давали ему ни минуты покоя. Он появлялся в столовой, взбешённый нашими ночными экскурсиями по залам, и жаловался на наши громкие голоса, называл нас дьяволами, грозился наказать нас, клялся даже расправиться с нами.

Видя, что никто из взрослых – даже мисс Мэдисон – не симпатизирует ему, мы ободрились и стали наслаждаться его реакцией на нас. Мы «взяли взаймы» его очки, без которых он не мог читать; когда он вешал свою одежду сушиться, мы спрятали её и стали ждать его следующего проявления, предвкушая его неистовую, яростную, недовольную реакцию, с наслаждением представляя себе, как он будет беситься и жаловаться на нас.

Пытка Рахмилевича достигла апогея и конца, когда мы решили украсть его вставные зубы. Мы часто передразнивали его, когда он ел – он имел манеру всасывать пищу через зубы, которые при этом щёлкали у него во рту, – и мы под-

ражали его привычке, развлекая большинство присутствовавших. Было что-то искренне озорное в нашем поведении, и для каждого было трудно не поддаться нашему постоянно приподнятому, весёлому и злобному настроению. Когда бы бедный Рахмилевич не присутствовал в какой-либо группе, неизменно само это присутствие заставляло всех детей непреодолимо и заразительно смеяться.

Вызвался ли я добровольно для миссии кражи зубов или меня выбрали – я не помню. Я помню, что это был хорошо обдуманый групповой план, но я был единственным, кто должен был совершить реальную кражу. Чтобы сделать это, однажды ночью я спрятался в коридоре возле комнаты Рахмилевича. Группа из пяти или шести других детей начала производить снаружи различный шум: вопить, дуть через гребёнки, которые были завёрнуты в туалетную бумагу, изображая привидения, и мрачно называли его имя, предсказывая его немедленную смерть и так далее. Мы нескончаемо продолжали вопить, и, как мы и предвидели, он не смог сдержать себя. Он выскочил из комнаты в темноту в ночной рубашке, крича в бессильной ярости и преследуя группу по коридору. Это был мой момент: я вбежал в его комнату, схватил зубы из стакана, в котором он хранил их на столе у кровати, и выскочил наружу.

Мы не спланировали, что и как с ними делать – мы не зашли так далеко, чтобы забрать их навсегда, – и после долгого обсуждения решили повесить их на газовую трубу над обе-

денным столом.

Все мы, конечно, присутствовали там на следующее утро, страстно ожидая появления Рахмилевича и ёрзая в предвкушении. Никто не мог быть более подходящей мишенью для наших махинаций: как и ожидалось, он вошёл в обеденную комнату, его лицо сморщилось вокруг рта из-за отсутствия зубов – само живое воплощение срывающейся ярости. Вся столовая загудела от шума, поскольку он стегал нас словесно и физически, гоня вокруг стола и требуя пронзительными криками возвращения зубов. Все мы, как будто неспособные более сдерживать свой восторг, начали бросать быстрые взгляды вверх над столом, и Рахмилевич наконец достаточно успокоился, чтобы посмотреть вверх и увидеть свои зубы, висевшие на газовой трубе. Сопровождаемый нашими торжествующими криками и смехом, он встал на стол, снял их и засунул себе в рот. Когда он сел снова, мы в один момент поняли, что на этот раз зашли слишком далеко.

Он сумел съесть свой завтрак с некоторым холодным молчаливым достоинством, и хотя мы, как заведённые, продолжали подшучивать над ним, но делали это уже вяло, без особого рвения. Он холодно посмотрел на нас, с чувством, которое было даже больше, чем ненависть, – взгляд его был как у раненого животного. Однако он не оставил всё это, как обычно, на самотёк. Он повёл дело через мисс Мэдисон, которая затем нескончаемо допрашивала нас. Я, наконец, принался в краже, и хотя все мы были отмечены в её чёрной

книжке, она сообщила мне, что теперь я возглавлял список с громадным отрывом от других. Отпустив других детей, она оставила меня в своей комнате, чтобы перечислить список моих проступков, которые она отметила: я не поддерживал достаточную чистоту в хлеве, я не подметал двор регулярно, я не вытирал, как следует, пыль в комнате Гурджиева, курятник обычно был в беспорядке, я не заботился о своей собственной комнате, о своей одежде и внешнем виде. Вдобавок, она была уверена, что я был заводилой во всех кознях против бедного старого мистера Рахмилевича.

Так как стояла уже ранняя весна, и неумолимо приближалось прибытие Гурджиева из Америки, я обратил некоторое внимание на её слова. Я прибрал курятник и, по крайней мере, немного улучшил состояние большинства моих обязательных работ. Но я всё ещё жил в какой-то сказочной стране и откладывал на потом как можно больше дел. Когда мы узнали, что Гурджиев собирается прибыть – нам сказали об этом утром того дня, когда он должен был появиться в Приоре, – я оценил качество выполнения своих обязанностей и ужаснулся. Я понял, что мне не удастся привести всё в порядок до его приезда. Я сосредоточился на тщательной уборке его комнаты и подметании двора – это были наиболее «видимые» мои обязанности. И вместо того, чтобы бросить свою работу, когда он приехал, я, преисполненный вины, продолжал подметать двор, а не пошёл его встречать, как все остальные. К моему ужасу, Гурджиев послал за мной.

Я робко подошел, ожидая какого-нибудь немедленного возмездия за мои грехи, но он только горячо обнял меня и сказал, что рад меня видеть, и чтобы я помог отнести его багаж в комнату и принёс кофе. Это было временным облегчением, но я страшился того, что должно было произойти.



Глава 14

Гурджиев вернулся из Америки в середине недели, а в субботу вечером состоялось первое общее «собрание» всех присутствующих в Приоре в Доме для занятий, отдельном здании, которое изначально было ангаром. С одной стороны в нём была приподнятая, покрытая линолеумом сцена. Прямо напротив сцены был небольшой шестиугольный фонтан, оборудованный электричеством так, что разноцветные блики весело играли на воде. Фонтан обычно использовался только во время игры на пианино, которое находилось с левой стороны сцены, если стоять к ней лицом.

Основная часть здания, от сцены ко входу в противоположном конце, была покрыта восточными коврами различных размеров и окружена небольшим барьером, который отделял большое прямоугольное открытое пространство. Стороны этого прямоугольника по барьеру были окружены подушками, покрытыми меховыми коврами, и именно здесь обычно сидело большинство учеников. Позади барьера, выше уровнем, были скамейки для зрителей, также покрытые восточными коврами. Около входа в здание было маленькое помещение, приподнятое на несколько футов от пола, в котором обычно сидел Гурджиев, а над ним был балкон, который редко использовался, и то только для «важных» гостей. К крестообразным балкам потолка была прибита разноцвет-

ная материя, свисающая волнами, создавая эффект облака. Это был впечатляющий интерьер, как в церкви. И было ощущение неуместности разговора громче, чем шёпотом, даже когда там было пусто.

В тот субботний вечер Гурджиев сидел на своём привычном месте, мисс Мэдисон сидела возле него на полу, со своей маленькой чёрной книжкой на коленях, а большинство учеников расположились вокруг, внутри барьера, на меховых коврах. Вновь прибывшие и «зрители» или гости сидели на высоких скамейках позади барьера. Гурджиев объявил, что мисс Мэдисон пройдёт по «проступкам» всех учеников, и нарушителям будет назначено надлежащее «наказание». Все дети, и особенно я, затаив дыхание, ждали, что мисс Мэдисон прочитает из своей книжки, которая, как оказалось, заполнялась не в алфавитном порядке, а в соответствии с числом совершённых проступков. Как мисс Мэдисон и предупредила меня, я возглавлял список, и перечисление моих преступлений и проступков было очень долгим.

Гурджиев невозмутимо слушал, время от времени бросая быстрый взгляд на того или иного провинившегося, иногда улыбаясь при оглашении определённого преступления и прерывая мисс Мэдисон только для того, чтобы лично записать количество проступков каждого. Когда она закончила своё чтение, в зале наступила торжественная, неподвижная тишина, и Гурджиев с тяжёлым вздохом произнёс, что все мы создали большое бремя для него. Затем он сказал, что

нам будет объявлено наказание согласно числу совершённых проступков. Естественно, меня назвали первым. Он показал мне жестом сесть на пол перед ним, а затем велел мисс Мэдисон вновь прочесть мои проступки во всех деталях. Когда она закончила, Гурджиев спросил меня, признаю ли я всё это. Мне хотелось отвергнуть некоторые из них, по крайней мере частично, и привести смягчающие обстоятельства, но торжественность мероприятия и тишина в зале удержали меня от этого. Каждое произносившееся слово обрушивалось на собрание с ясностью колокола. У меня не хватило мужества сказать хоть какое-нибудь слабое оправдание, которое приходило на ум, и я признался, что список был точен.

Снова вздохнув и покачав головой, как будто он очень сильно расстроен, Гурджиев полез в карман и вытащил огромную пачку банкнот. Ещё раз он пересчитал количество моих преступлений, и затем старательно отсчитал такое же число банкнот. Я не помню точно, сколько он мне дал – я думаю, что это было по десять франков за каждый проступок – но, когда он закончил считать, то передал мне довольно объёмную пачку. Во время этого процесса весь зал будто кричал тишиной. Не было ни малейшего шороха, и я не мог поднять глаз на мисс Мэдисон.

После вручения денег Гурджиев отпустил меня, вызвал следующего нарушителя, и процесс повторился. Так как там было очень много, и не было никого, кто не совершил бы чего-нибудь, не нарушил бы какого-нибудь правила во вре-

мя его отсутствия, вся процедура продолжалась очень долго. Когда он прошёлся по всему списку, то повернулся к мисс Мэдисон и вручил ей маленькую сумму – возможно, десять франков или эквивалент одного «преступного» платежа – за её, как он назвал это, «добросовестное выполнение обязанностей директора Приоре».

Все мы были ошеломлены; это, конечно же, было для нас полной неожиданностью. Нас переполнило сочувствие к мисс Мэдисон. Действие Гурджиева показалось мне бесчувственно жестоким, бессердечным. Я никогда не узнал, что чувствовала мисс Мэдисон по этому поводу, за исключением того, что она сильно покраснела от смущения, когда мне платили; она не показала явной реакции вообще никому и даже поблагодарила Гурджиева за жалование, которое он вручил ей.

Деньги, которые я получил, поразили меня. Их точно было намного больше, чем когда-либо ранее в моей жизни. Но эти деньги также отталкивали меня. Я не мог себя заставить что-нибудь сделать с ними. Не прошло и нескольких дней, как однажды вечером, когда я был вызван принести кофе в комнату Гурджиева, эта тема возникла снова. Мы с ним не общались лично – в смысле отдельного разговора – с тех пор, как он вернулся. В тот вечер он был один. Когда я обслуживал его кофе, он спросил меня, как я себя чувствую. Я выпалил все свои мысли о мисс Мэдисон и о деньгах, которые я был не способен потратить.

Он рассмеялся на это и весело сказал, что нет причины для того, чтобы я не мог потратить деньги так, как захочу. Это были мои деньги, и это была награда за мою деятельность прошедшей зимой. Я сказал, что не могу понять, почему меня наградили за то, что я был медлительным в работах и создавал одни проблемы.

Гурджиев снова рассмеялся и рассказал мне то, что я очень хотел узнать.

«Вы не понимаете того, – сказал он, – что не каждый может быть нарушителем, таким как вы. Это очень важная составная часть жизни, подобная дрожжам для приготовления хлеба. Без сложностей, без конфликтов жизнь становится мёртвой. Люди живут в некоем застывшем положении, живут только привычкой, автоматически и бессознательно. Вы хороши для мисс Мэдисон. Вы раздражали её больше, чем кто-нибудь ещё – поэтому вы получили большую награду. Без вас для сознания мисс Мэдисон была бы возможность заснуть. Эти деньги, в действительности, награда от неё, а не от меня. Вы помогаете сохранять мисс Мэдисон живой».

Я понял настоящий, серьёзный смысл, который он вложил в эти слова, но сказал, что чувствую жалость к мисс Мэдисон, и что это, наверное, было ужасное переживание для неё, когда она видела всех нас, получающих эти награды.

Гурджиев покачал головой и опять засмеялся. «Вы не видите или не понимаете важности того, что случилось с мисс Мэдисон, когда раздавались деньги. Что вы чувствуете по

прошествии времени? Вы чувствуете жалость к мисс Мэдисон, не так ли? Все другие также чувствуют жалость к ней, верно?»

Я согласился, что это так.

«Люди думают, что нужно всё время говорить, чтобы узнать что-то через ум, через слова. Это не так. Много можно узнать только чувством, через ощущение. Непонимание этого возникло от того, что человек всё время говорит, используя только формулирующий центр. Чего вы не заметили в тот вечер в Доме для занятий, так это то, что мисс Мэдисон получила новые для неё переживания. Люди не любят эту бедную женщину, люди думают, что она странная – они смеются над ней. Но вот иная ситуация, и люди не смеются. Действительно, мисс Мэдисон чувствует неудобство, чувствует смущение, когда я даю деньги, может быть, стыд. Но когда много людей чувствуют к ней симпатию, жалость, сострадание, даже любовь – она также понимает это, но не непосредственно умом. Она чувствует, в первый раз в своей жизни, симпатию многих людей. Она даже не знает тогда, что она чувствует это, но её жизнь меняется; вот вы, я использую вас в качестве примера, прошлым летом вы ненавидели мисс Мэдисон. Теперь вы не ненавидите её, не смеётесь над ней, вы чувствуете жалость. Вы даже любите мисс Мэдисон. Это хорошо для неё, даже если она не знает об этом – вы покажете свои чувства; вы не сможете скрыть их от неё, даже если захотите. Таким образом, у неё теперь есть друг,

хотя он был врагом. Я сделал для мисс Мэдисон хорошее дело. Я не заинтересован в том, чтобы она поняла это сейчас – однажды она поймёт и почувствует тепло в сердце. Тёплое чувство для такого человека, как мисс Мэдисон, который не обаятельный, недружелюбный внутри себя, – это необычное переживание. В какой-нибудь день, может быть скоро, она почувствует себя хорошо, потому что многие люди чувствуют жалость, чувствуют сострадание к ней. Иногда она даже поймёт, что я делаю, и даже полюбит меня за это. Но такой вид обучения требует много времени».

Я очень хорошо понял его и был очень взволнован его словами. Но он ещё не закончил свою речь.

«Также это хорошо и для вас, – сказал он. – Вы молоды, ещё только мальчик, вы не заботитесь о других, только о себе. Я совершаю поступок с мисс Мэдисон, и вы думаете, что я делаю плохо. Вы чувствуете жалость, вы не забываете об этом, вы думаете о том, что я сделал ей плохо. Но теперь вы понимаете, почему это не так. Также это хорошо для вас, потому что вы переживаете за другого человека, вы отождествляетесь с мисс Мэдисон, ставите себя на её место, потому что хотите понять и помочь. Это хорошо для вашей совести, этот метод является возможностью для вас научиться не ненавидеть мисс Мэдисон. Все люди такие же – глупые, слепые, но человеческие. Если я поступаю плохо, это помогает вам научиться любить других людей, не только себя».



Глава 15

Причин поездки Гурджиева в Соединенные Штаты, по его словам, было несколько – одной из наиболее важных была надобность заработать достаточно денег для поддержания работы Института в Приоре. Гурджиев не приобретал имущество, а арендовал его на длительный срок, и, так как очень немногие ученики были «платёжеспособными гостями», деньги были необходимы, чтобы оплатить аренду, счета за свет, газ и уголь, а также, чтобы обеспечить пищей, которую мы не могли вырастить или произвести самостоятельно. Расходы самого Гурджиева в то время были также велики: он содержал квартиру в Париже и оплачивал проезд всех учеников, которых он брал с собой в Америку – хотя бы для того, например, чтобы устроить там демонстрацию своей гимнастики.

По возвращении он часто потчевал нас рассказами о своих приключениях в Америке, об американском обычае принимать с распростёртыми объятиями любое новое «движение», «теорию» или «философию» просто для того, чтобы развлечься, и о доверчивости американцев вообще. Гурджиев рассказывал нам, что для них было почти невозможным не дать ему денег – сам акт передавания ему денег придавал им чувство важности, и он называл это «вымогательство» «стрижкой овец». Он говорил, что у большинства амери-

канцев карманы были настолько полны зелёного свёрнутого «хлама», что у них чесались руки, и они не могли дождаться, когда расстанутся с ним. Тем не менее, несмотря на его рассказы о них и на то, что он подшучивал над ними, Гурджиеву искренне нравились американцы. В те моменты, когда он не смеялся над ними, он отмечал, что от всех людей западного мира они отличались характерными чертами: своей энергией, изобретательностью и настоящей щедростью. Также, хотя и доверчивые, они были добросердечны и стремились учиться. Но каковы бы ни были их характерные черты и недостатки, он сумел во время своего пребывания в Америке собрать очень большую сумму денег. Я сомневаюсь, что кто-нибудь из нас знал точно, сколько, но все верили, что больше, чем 100 000 долларов.

Первым очевидным предприятием, проведённым после его возвращения во Францию, была неожиданная доставка в Приоре множества велосипедов. Они прибыли машиной, и Гурджиев лично раздал их каждому, с немногими исключениями – кроме себя, своей жены и одного или двух самых маленьких детей. Мы все были очень удивлены, а очень многие из учеников-американцев были повергнуты в ужас этой явно лишней тратой денег, которые многие из них жертвовали на дело Гурджиева. Каковы бы ни были причины приобретения велосипедов – результат был сокрушительно красочным.

Из учеников, живших тогда в Приоре, только очень немногие умели ездить на велосипеде. Но велосипеды были

куплены не просто так – на них надо было ездить. Целые участки земли стали огромным полем для занятий. Днями, и в случае многих из нас, неделями участки оглашались звуками велосипедных звонков, грохотом падений, криками смеха и боли. Большими группами, виляя и падая, мы ездили к месту работ по проектам в садах и в лесу. Каждый, кто имел повод или какую-нибудь вескую причину для прогулки, вскоре осознавал, что нужно остерегаться мест, ещё совсем недавно бывших пешеходными дорожками; очень возможно, что несущийся по ним совершенно неуправляемый велосипед с застывшим от ужаса ездоком врежется в несчастного пешехода или другого столь же беспомощного велосипедиста.

Я полагаю, что большинство из нас научились ездить довольно скоро, хотя я помню ушибленные колени и локти в течение большей части лета. Однако этот длительный процесс через какое-то время завершился, хотя прошло ещё много времени, прежде чем стало возможным безопасно ездить и гулять в садах Приоре, не подвергаясь опасности в образе какого-нибудь начинающего велосипедиста.

Другой проект, который был начат тем летом, был столь же колоритным, хотя и не требовал затраты большой суммы денег. Каждый, за исключением основной группы, которая обеспечивала работу кухни и дежурство швейцара, был отправлен переделывать газоны – те самые газоны, которые я так неутомимо косил первым летом. Никто не был осво-

бождён от этой обязанности, даже так называемые «почётные» гости – люди, которые приходили ненадолго, по-видимому, чтобы обсудить теорию Гурджиева, и которые ранее не принимали участия в работе над проектами. Использовался весь наличный инструмент, газоны были полны людей, которые выкапывали траву, сгребали её, вновь засеивали и укатывали новые семена в грунт тяжёлыми железными катками. Люди создавали такую толчею, будто бы их всех завели в одну комнату. В это время Гурджиев расхаживал взад и вперёд среди работающих, каждого критикуя, подгоняя и содействуя неистовству и бессмысленности всего мероприятия. Один из недавно прибывших американских учеников, осматривая эту муравьиную возню, заметил, что, видимо, все ученики и особенно Гурджиев, простились со своим рассудком – по крайней мере, временно.

Время от времени, иногда даже на несколько часов, Гурджиев внезапно прекращал своё наблюдение за нами, садился за маленький стол, за которым он мог видеть всех нас, и размеренно писал свои книги. Это только усиливало комическую сторону всего проекта.

На второй или третий день один голос выразил протест этой деятельности. Это был Рахмилевич. В неистовой ярости он бросил инструмент, которым работал, подошёл прямо к Гурджиеву и сказал, что то, что мы делали, было ненормальным. На газонах работало так много людей, что лучше было выбросить все семена, чем сеять их под нашими ногами.

Люди копали и гребли бесцельно, в любом свободном месте, не обращая внимания на то, что делали.

Также неистово Гурджиев возразил против этой критики – он лучше, чем кто-либо в мире, знает, как «восстанавливать» газоны, он специалист, его нельзя критиковать и так далее. После нескольких минут этой эмоциональной аргументации Рахмилевич повернулся на каблуках и зашагал прочь. На всех нас произвёл впечатление такой его подход к «учителю» – мы приостановили работу и наблюдали за ним, пока он не скрылся в лесу за дальним газоном.

Примерно через час, когда был перерыв для послеобеденного чая, Гурджиев подозвал меня к себе. Довольно долго он говорил мне, что очень важно найти мистера Рахмилевича и привести его назад. Гурджиев сказал что, чтобы спасти лицо Рахмилевича, нужно послать за ним, поскольку он сам никогда не вернётся, и велел мне запрячь лошадь и найти его. Когда я возразил, что не знаю даже, где начать поиски, он сказал, что, если я последую своей интуиции, я, несомненно, без труда найду его и, возможно, даже лошадь сможет мне помочь.

Я пытался поставить себя на место Рахмилевича, когда запрягал лошадь в коляску, и наконец отправился к саду позади основных огородов. Мне казалось, что он мог уйти только за один из дальних огородов – расположенном не менее чем в миле отсюда, и я направился к самому дальнему на краю территории, принадлежавшей Приоре. По пути я пере-

живал о том, что буду делать, если и когда найду его, особенно потому, что я был главным обвиняемым в заговоре против него этой зимой. Никто ничего не сказал *мне* об этом, – по крайней мере, Гурджиев не сказал, – и я чувствовал, что меня выбрали только потому, что я отвечал за лошадь, однако Гурджиев не мог выбрать неподходящего кандидата для этого поручения.

Я не очень удивился, когда моё предчувствие оказалось правильным. Рахмилевич был в саду, как я и предполагал. Но, как будто чтобы придать ситуации некое качество нереальности, он находился в необычном месте. Он, в самом прямом смысле, сидел на яблоне. Скрывая своё удивление, – на самом деле, я подумал, что он сошёл с ума, – я подогнал лошадь и коляску прямо под дерево и заявил о моём поручении. Он отстранённо посмотрел на меня – и отказался возвращаться. У меня не было никаких аргументов, и я не придумал никакой подходящей причины, чтобы убедить его вернуться, поэтому я сказал, что буду ждать здесь, пока он не согласится, потому что я не мог вернуться без него. После долгого молчания, во время которого Рахмилевич изредка свирепо смотрел на меня, он внезапно, не говоря ни слова, просто спрыгнул с дерева в коляску, а затем сел на сиденье рядом со мной. Я повёл лошадь к главному зданию. Для нас обоих был приготовлен чай, мы сели за стол друг напротив друга и стали пить, в то время как Гурджиев наблюдал за нами из-за соседнего стола. Все остальные вернулись к работе.

Когда мы окончили чаепитие, Гурджиев велел мне распрячь лошадь, поблагодарил за возвращение Рахмилевича и сказал, что увидится со мной позже.

Гурджиев пришёл в конюшню, когда я был ещё занят с лошадью, и попросил точно рассказать ему, где я разыскал мистера Рахмилевича. Когда я сказал, что нашёл его сидевшим на дереве в «дальнем саду», он недоверчиво посмотрел на меня и попросил повторить. Он спросил меня, совершенно ли я уверен в том, что говорю, и я уверил его, что Рахмилевич был на дереве, и я должен был стоять долгое время под деревом, пока он не согласился отправиться со мной назад. Гурджиев спросил меня о доводах, которые я использовал, и я признался, что не мог придумать ничего, за исключением того, что он должен вернуться назад, и я буду ждать его, пока он не согласится ехать. Гурджиев, казалось, нашёл всю эту историю очень забавной и горячо поблагодарил меня за рассказ.

Бедный мистер Рахмилевич! Когда все собрались в гостиной в тот вечер, он всё ещё был объектом всеобщего внимания. Никто из учеников не мог припомнить человека, сопротивлявшегося Гурджиеву в присутствии всех. Но инцидент ещё не был исчерпан. После обычной музыкальной игры месье де Гартмана на пианино Гурджиев сообщил нам, что хочет рассказать забавную историю, и приступил к восстановлению истории Рахмилевича в мельчайших подробностях, обильно приукрасив её своими собственными выдум-

ками. Гурджиев рассказал, как Рахмилевич не подчинился ему после обеда, как он исчез, а я его «взял в плен». История была не только весьма приукрашена, но он также разыграл все роли – свою, Рахмилевича, заинтересованных зрителей, мою и даже лошади. Забавная для всех нас, эта история была более того, что Рахмилевич мог вынести. Второй раз за этот день он ушёл от Гурджиева после неистовой вспышки, обещая, что покидает Приоре навсегда; с него, наконец, достаточно.

Я не верил, что кто-нибудь его тогда воспринял серьёзно, но, к нашему удивлению и ужасу, он действительно отправился на следующий день в Париж. Он являлся такой неотъемлемой частью этого места, был так заметен, благодаря своим нескончаемым жалобам, что это было подобно концу некой эры – как будто внезапно исчезла некоторая существенная собственность школы.



Глава 16

Джейн Хип вернулась во Францию в одно время с Гурджиевым и, конечно же, приехала в Приоре, чтобы увидеть нас. К моему сожалению, с её возвращением визиты в Париж к Гертруде Стайн и Элис Токлас прекратились. Я был очень удивлён, когда меня однажды после обеда позвал швейцар и сказал, что ко мне посетитель. Я очень обрадовался, узнав, что это была Гертруда, и был очень счастлив видеть её, но моё счастье рассеялось почти сразу. Гертруда совершила со мной короткую прогулку в садах школы, дала мне коробку конфет, которая, как она сказала, была «прощальным» подарком для нас обоих от неё и Элис. Она не дала мне возразить ей и сказала, что приехала в Фонтенбло специально, чтобы увидеть нас (я не помню теперь, повидалась ли она с Томом или нет), потому что не хотела расставаться с нами, просто написав письмо.

Когда я спросил её, что она имела в виду, она сказала, что это из-за некоторых трудностей, которые возникли у неё с Джейн, а также потому, что мы не были достаточно воспитаны, и она решила, что не может больше продолжать встречи с нами. Любые отношения с ней, из-за её разногласия с Джейн – и, я заключил, что с Гурджиевым тоже – будут неизбежно создавать для нас только проблемы. Я ничего не мог сказать ей на это. Гертруда сразу же прервала мои протесты, сказав,

что она очень огорчена тем, что должна так поступить, но другого выхода нет.

Я был потрясён и опечален таким неожиданным, внезапным концом этих счастливых, волнующих и многообещающих отношений, и, может быть, заблуждаясь, я мысленно обвинял в этом Джейн. Я не помню, упоминал ли я когда-либо об этом Джейн, объяснила ли она мне это, но я помню чувство, возможно, ошибочное, что это она – не Гурджиев – была причиной разрыва. Какова бы ни была истинная причина, но мои отношения с Джейн, начиная с этого момента, стали ухудшаться. Я редко видел её, хотя она всё ещё была моим законным опекуном. Оглядываясь назад на своё поведение в то время, я нахожу его теперь в высшей степени невоспитанным, – не знаю, что думала по этому поводу Джейн. Обычно Джейн периодически посещала Приоре в выходные, но даже когда я видел её, – в смысле, видел только издали, – мы почти не разговаривали друг с другом в этот период, длившийся примерно два года. Она, конечно, видела Тома и Гурджиева, и я знал из общих разговоров в школе и от Тома, что «проблема Фрица» часто обсуждалась, а также что в этих обсуждениях принимал участие Гурджиев. Однако Гурджиев, с которым я был ещё в очень близком контакте благодаря моим обязанностям по уборке комнаты, никогда в течение всего этого времени не упоминал о Джейн, и его поведение по отношению ко мне никогда не менялось. Наши взаимоотношения не только не менялись, но, отчасти из-за разрыва с

Джейн, мои уважение и любовь к нему только усилились.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.